

A stylized illustration of a young boy sitting on a tree branch, holding a rifle. The scene is set against a dark green background with silhouettes of trees and foliage. The boy is looking to the right.

В СЕВОЛОД
НЕСТАЙКО

ТРИКЛЮЧЕНИЯ

РОБИНЗОНА КУКУРУЗО

Издательство "Детская литература"

Annotation

Аннотация издательства:

Жили два друга.

«Орлы! — говорил про них дед Саливон. Потом добавлял: — Орлы и пираты. Нет на них хорошего прута!»

Больше всего на свете друзья хотели стать знаменитыми. Но слава не приходила. Кончилось тем, что один из них получил переэкзаменовку. Все отдыхают, весело проводят лето, а он сидит и учит уроки. Вольнолюбивая натура мальчишки не выдержала, и он решил бежать в плавни на необитаемый остров.

О необычайных и смешных приключениях, которые произошли с ним на острове, и рассказывает эта весёлая повесть.

Написал её известный украинский писатель Всеволод Зиновьевич Нестайко. Это не первая книга писателя, которая издаётся на русском языке. Особой популярностью у читателей пользуется его повесть-сказка «В стране солнечных зайчиков». Она переведена не только на русский язык, но и на многие другие.

Напишите, понравилась ли вам новая книга писателя.

Наш адрес: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки Г. Мазурина

- [Всеволод Нестайко](#)

-
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)

- [Глава XIV](#)
- [Глава](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

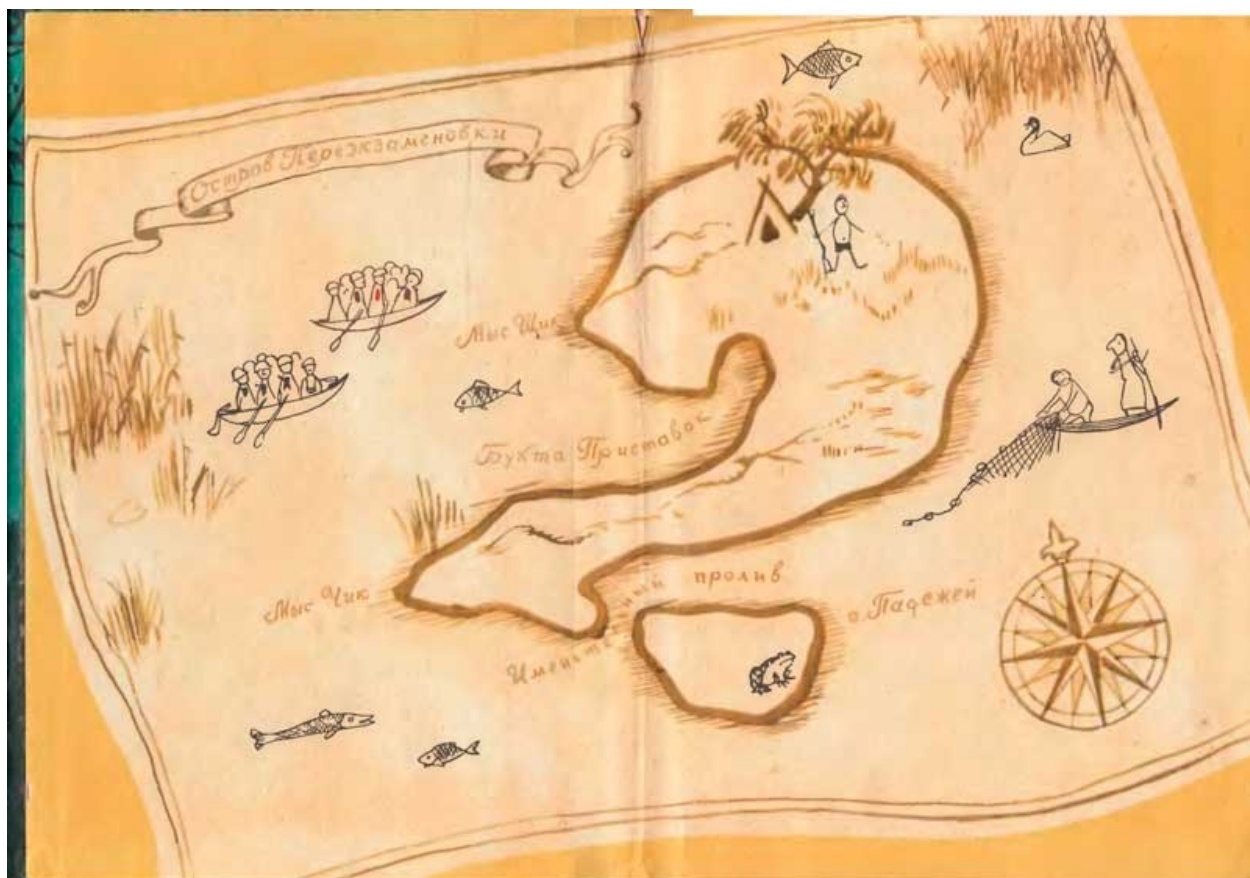
Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

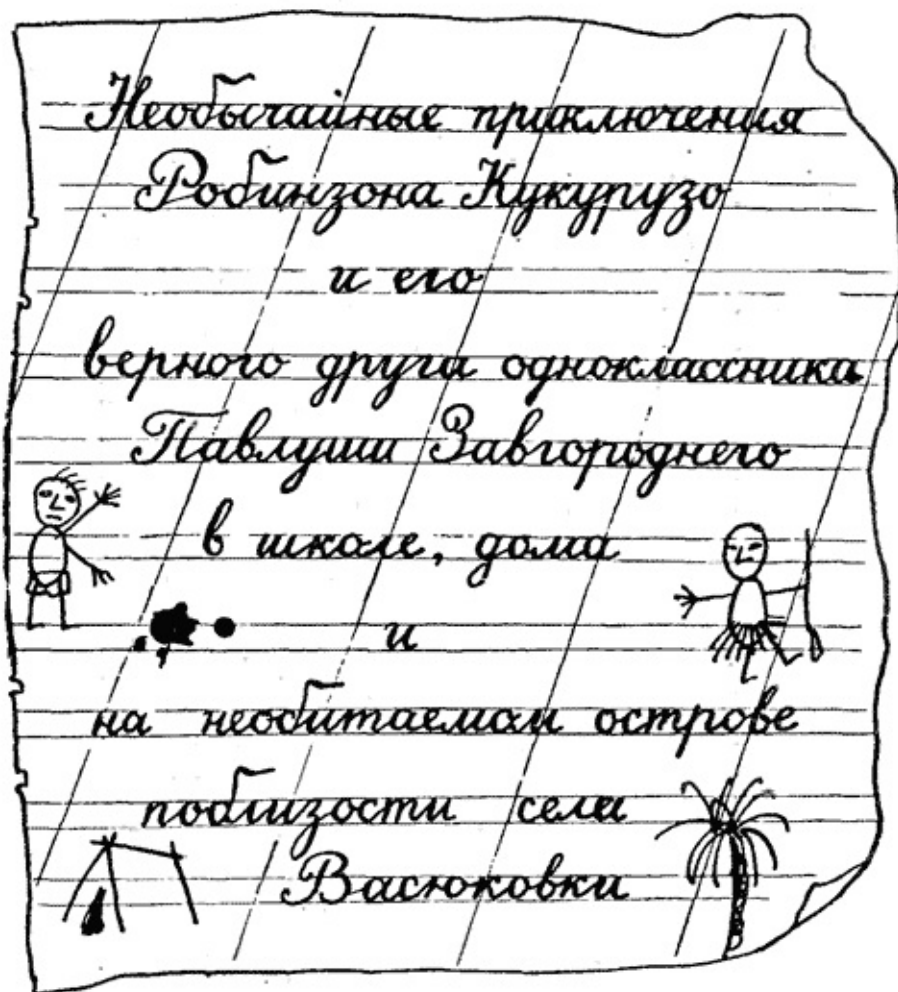
[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Всеволод Нестайко Необычайные приключения Робинзона Кукурузо



ВСЕВОЛОД НЕСТАЙКО



Перевёл с украинского
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

Издательство
"Детская
литература"
МОСКВА 1965

Глава I

Метро под свинарником



— Вот архаровец, авантюрист желторотый! Ванька-а! Вылазь сейчас же! Бо такого чёсу задам — неделю вспоминать будешь. Вылазь, слышь — вылазь!

Мы лежим в густом бурьяне за овином, уткнувшись в землю носами, и не дышим.

— Вылазь, убоище, а то хуже будет! Ты ж меня знаешь!

— Знаю, знаю, — еле слышно вздыхает мой друг и наконец отваживается подать голос. — Диду! — жалобно отзывается он.

— Давай, давай!

— Диду! — ещё жалобнее повторяет мой друг. — Вы отойдите за хату, мы вылезем.

— Они ещё мне условия ставят, вышкварки! А ну вылазьте!

— Да мы ж не хотели. Мы ж хотели метро, такое, как в Киеве.

— Я вам дам метро. Я вам такого метр^а дам, что...

— Мы ж не знали. Мы сейчас всё зароем — ничего и видно не будет.

Ещё и свинарник почистим. Отойдите, диду.

Долго ещё продолжаются переговоры. Наконец дед в последний раз ругнулся, закашлялся и, шаркая хромой ногой, поплёлся за хату.

Мы вылезаем из бурьяна.

Возле свинарника нас встречает гундосым хрюканьем пятипудовая свинья Манюня, пятнистая, как географическая карта.

— У-у, скотинище!

Это из-за неё мы попали в такую неприятность.

У нас была благородная идея — прорыть под свинарником метро. Это должно было быть для всех сюрпризом. Первая линия метро в Васюковке. Станция «Овин», станция «Кривая груша». Три копейки в один конец. Родственники — бесплатно. С учительницы арифметики — пять копеек.

Мы уже подрылись почти до половины свинарника, и вдруг произошла непредвиденная катастрофа — проклятая свинья Манюня провалилась в наше метро. Провалиться-то она сумела, а вот вылезть — дудки! И подняла такой визг, что прихромал дед. Ну и...

Тяжело вздыхая, мы засыпаем метро. Время от времени боязливо оглядываемся — как бы опять внезапно не появился дед, чтобы надрать нам уши. Хоть и обещал он, что не тронет, пока не кончим, но кто его знает... Надо быть начеку. Вы б послушали, как он ругался, когда вытаскивал Манюню. Ох и ругался! И где он только словам таким научился — ни в одном словаре не найдёшь!

Впрочем, деда не видать. И, пока мы работаем (а дело это долгое, нудное и противное), я вас познакомлю со своим другом.

Вы, конечно, знаете, что есть такой остров — Ява. В Индийском океане. Тот, который Ява, Суматра, Борнео, Целебес. Большие Зондские...

Ну так Ява — это не остров.

Ява — это и есть мой лучший друг и напарник Ява Рень.

Наверное, вы думаете: что это за имя такое странное — Ява? Так должен вам сказать, что это он сам себя так назвал, когда ему ещё и года не было. То ли он хотел сказать «я Ваня», а получилось «Ява». То ли «Иван» у него так прозвучало (потому что на самом деле его Иваном звать), но только прицепилось к нему это «Ява», как репей к собачьему хвосту. Даже милиционер товарищ Валиг^ура, что живёт в нашем селе, так его называет.

У них вообще вся семья интересная.

Папа на скрипке играет. Корова Контрибуция называется. А дед Вар^ава

(вы уже с ним знакомы) охотник заядлый. На охоте, когда стреляет, левый глаз платком завязывает. Потому что левый глаз у него без правого не прищуривается. Если левый прищурит, правый сам собой закрывается.

Но зато и меткий же дед Варава. Ох же и меткий!

Городские охотники, которые на «Волгах» из Киева приезжают, только ахают.

«Вы, дедушка, абсолютный чемпион», — говорят.

В честь старого Реня даже озеро, что возле нашего села, люди Реневым прозвали.

Мама же Явина — депутат райсовета, звеньевая кукурузоводов.

Как-то Ява с Иришкой, сестричкой своей младшей, поссорился и при всех надавал ей тумаков. Так она, вместо того чтобы заплакать, вдруг как закричит:

— Опозогил! — Она букву «р» не выговаривает. — Маму — депутата на всё село опозогил.

Такой скандал учинила! Ява не знал, куда глаза девать! Стоял, стоял, красный как рак, а потом как даст стрекача — только пятки засверкали.

Впрочем, это лишь раз такое было. А вообще характер у Явы редчайший. Сталь, а не характер. Таких на миллион только один бывает.

Ява сам говорил:

— Мы с тобой, Павлуша, хлопцы будь здоров! Точно-точно, без брехни, мы хлопцы с фантазией. Скажи?

— С фантазией, — поддакивал я.

— Ты ж слышал, что дед Саливон вчера возле сельмага сказал: «Вона Ява и Павлуша пошли. От хлопцы! Орлы! Гангстеры, а не хлопцы. Нет на них буцегарни^[1]»

— Слышал. Точно.

— Надо, чтоб все про нас так говорили. Надо, чтоб слава про нас гремела на всю Васюковку, как радио Первого мая.

— Надо, — соглашался я.

И Ява всё время выдумывал разные интересные штуки ради нашей славы.

Это ради неё мы с ним поймали в лесу сову-пугутькало и выпустили в клубе во время лекции на тему «Воспитание детей в семье». Лектор упал с трибуны и опрокинул себе на голову графин с водой.

А то как-то летом Ява сказал:

— Давай устроим бой быков.

— Га? — не сразу понял я.

— Ты помнишь, мы в клубе заграничное кино смотрели «Тореадор»?

— Ага, да-да-да... Ну и что?

— Помнишь, на арене разъярённый бык, а дяденька в шляпе с кинжалом у него перед носом танцует.

— Да-да-да...

— А потом дяденька — рраз! Бык — шлёп! И аплодисменты.

— Ага. Здорово... Но это же убивать нужно. Кто ж нам позволит убивать рогатое поголовье?

— Тю, балда. Убивать! Что это тебе — мясозаготовки, что ли? Это же зрелище. На стадионе. Вроде футбола. Главное тут — красиво размахивать перед носом быка красным платком и ловко увёртываться, чтоб он рогом не зацепил. Ты же видел. Тореадоры — это самые смелые герои ловкачи. Главное тут — тренировка, ловкость и смелость. Понимаешь? Впервые в истории Васюковки — бой быков. Тореадор Иван Рень и тореадор Павел Завгородний! Гости съезжаются со всей Украины. Трансляция по радио и по телевизору. Даже в Жмеринке у твоих родственников видно будет.

Я улыбнулся. Это было здорово! По радио, по телевизору и вообще... у родственников в Жмеринке.

Мы устроились поудобнее и начали обсуждать детали. Прежде всего необходим бык. Кандидатура колхозного племенного быка Петьки была отвергнута сразу. Это такое страшилище, что его даже сам зоотехник Иван Свиридович боится. Глаза — как тракторные фары. Сам величиною с комбайн. Землю ногами роет, как экскаватор. На километр подойти страшно.

Одного дачника, который отдыхал у нас летом, он даже на телеграфный столб загнал.

Нет уж, пусть с быком Петькой враги наши бьются!

Собственно, кроме быка Петьки, настоящих быков у нас больше не было. Поэтому второй кандидатурой был козёл Жора. Это я его кандидатуру выдвинул, чтоб отомстить. Очень противен был мне козёл Жора, потому что он съел мою новую праздничную рубашку, когда я купался.

Но Ява меня не поддержал.

— Нет, не годится, — сказал он. — Жора всё время бекает и мекает. Из-за него мы и аплодисментов не услышим. К тому же речь идет про бой быков, а не козлов. Надо, чтобы было что-то бычье, коровье, что-то — большое и рогатое.

— Коровье? — говорю. — Слушай, так, может, и взять просто корову? Потому, что кроме Петьки, настоящих быков у нас нету, а коров сколько хочешь. И вообще нигде не сказано, что обязательно должен быть бык.

Теперь всюду равноправие.

Ява задумался:

— Кто его знает, может быть, и так.

— Тогда, — говорю, — лучшей кандидатуры, чем ваша Контрибуция, и не придумаешь.

— А почему Контрибуция? А почему не ваша Манька?

— Потому что у нашей Маньки телёнок и рог один сломан. Ты хочешь, чтоб над нами смеялись. Тореадоры с однорогой коровой! Карикатура! Такого ещё никогда в мире не было.

— Можно, конечно, и Контрибуцию. Но она немного психическая.

— Что значит «психическая»? Скажи лучше, что ты просто матери боишься.

— Я боюсь? Вот я сейчас дам тебе в ухо, и ты увидишь, как я боюсь. А ну возьми свои слова назад!

— Я возьму, но ты всё равно боишься.

— Боюсь?

— Боишься.

— Боюсь?

— Боишься.

Ява не выдержал и ударил меня в ухо. Я ответил Яве ударом в живот. Мы сцепились, рухнули на траву и выкатились на дорогу. Все, что было на дороге плохого, тут же пристало к нашим рубашам. Первым опомнился я.

— Погоди, — говорю, — хватит. А то вместо боя быков вышел у нас бой дураков.

— Это же ты виноват... Ну ладно, — согласился Ява. — Попробуем Контрибуцию. А то твоя Манька действительно для телевизора не подходит. Люди еще подумают, что это не корова, а собака.

Я хотел вскипеть от обиды за Маньку, но передумал. Мне уже надоело драться.

Мы почистили друг друга и пошли домой.

На следующее утро мы встретились на дороге, что вела к выгону. Я гнал перед собой Маньку, Ява — Контрибуцию. Коровы плелись, легкомысленно махая хвостами, и не подозревали, какой это для них исторический день.

У Явы на голове была мамина шляпа с полями, в которой мама ездила в Киев на совещания. Шляпа была Яве великовата и насовывалась на глаза. Яве приходилось всё время дёргать головой, поправляя шляпу. Казалось, что он с кем-то раскланивается.

Шляпу Ява, конечно, взял без спроса.

У меня под мышкой был коврик. То был знаменитый коврик! Я его помню столько, сколько вообще что-нибудь помню. Он с самого моего рождения висел над моей кроватью. Коврик был красный, и на нём были вышиты три смешных щенка, которые сидели рядышком, склонившись друг к другу головами. Это были Цюця, Гава и Рёва, про которых мама рассказывала мне множество разных историй, пока я не засыпал. Последние два года, поскольку я уже вырос, коврик лежал в сундуке, и теперь от Цюци, Гавы и Рёвы сильно пахло нафталином.

Коврик и шляпа — это были наши тореадорские принадлежности. По дороге мы ещё вырезали из орешника две прекрасные шпаги. Мы были в полной боевой готовности.

Мы шли и пели арию Хозе из оперы «Кармен», которую много раз слышали по радио.

«Торе-хадор, смелее-эээ в бой, торе-хадор, торе-хадор... Там ждёт тебя-хя любовь, там ждёт тебя-хя любовь».

Мы пели и ещё не знали, что нас ждёт.

Небо было синее-синее, настоящее испанское небо.

Погода — самая подходящая для боя быков.

Мы погнали своих коров на край выгона, туда, где пруд, — подальше от людских очей.

— Отгони свою Маньку куда-нибудь в сторону, чтоб не мешала, — сказал Ява, — и давай начинать.

Я не стал спорить. Тем более, что Манька у нас очень нервная: ей лучше не видеть боя быков.

Ява поправил на голове шляпу, подтянул штаны, взял мой коврик, вздохнул и, пританцовывая, на носках стал подходить к Контрибуции. Подошёл к самой её морде и начал размахивать ковриком у неё перед глазами. Я затаил дыхание — сейчас начнётся...

Контрибуция спокойно щипала траву.

Ява замахал ковриком ещё сильнее. Контрибуция не обращала на него никакого внимания.

Ява хлестнул её ковриком по ноздрям. Контрибуция только отвернула морду.

Ява раздражённо взвизгнул и ещё раз изо всех сил хлестнул её ковриком. Контрибуция, лениво переступая ногами, повернулась к Яве хвостом. Ява снова забежал вперёд и начал пританцовывать.

Через полчаса он сказал:

— Она ко мне просто привыкла, она меня любит и потому не хочет. А ну давай ты!

Через час, запыхавшись, я сказал:

— Какое-то убоище, а не корова. Жаль, что моя Манька безрогая, я бы тебе показал, что такое настоящая корова.

За дело опять взялся Ява. Он время от времени менял тактику: то подходил к корове потихоньку и неожиданно бил ковриком, то подлетал с разгона. То забегал сбоку. Но Контрибуция упорно не принимала боя.

Чубы у нас взмокли, коврик нервно дёргался в руках — казалось, что Цюця, Гава и Рёва вот-вот залают. А Контрибуция — хоть бы что.

Один раз только, когда Ява схватил Контрибуцию за ухо, она с укоризной посмотрела на него своими грустными глазами и сказала:

«Мму-у!»

В переводе с коровьего это, очевидно, значило: «Идите, хлопцы, отсюда. Не трогайте меня».

Но мы вовремя не сумели понять её.

Хекая, мы прыгали около неё, вызывая на поединок. Яве было стыдно передо мной за свою Контрибуцию, это я видел.

Наконец разозлённый Ява крикнул:

— А ну ударь ее, а ну ударь ее, Павлуша, хорошенько! Что, боишься? Ну, так я сам!

Он размахнулся и лягнул Контрибуцию ногой по губе.

И вдруг... Вдруг я увидел Яву где-то высоко в небе. И оттуда, с неба, услышал его отчаянное визгливое:

— Вва-ввай!

Он начал бежать, по-моему, ещё в воздухе. Потому что, когда ноги его коснулись земли, он уже изо всех сил мчался к пруду. Я бросился за ним. Это было наше единственное спасение. Мы с разгона влетели в пруд, вздымая целые гейзеры воды и грязи. Остановились только уже где-то на середине.



То, куда мы влетели, прудом, честно говоря, назвать можно было только условно. Когда-то тут действительно был большой пруд-копалка. Но он давно пересох, загрязнился и превратился в обыкновеннейшую лужу. В самом глубоком месте нам было по шею. Именно в этом месте мы сейчас и стояли.

Контрибуция бегала вокруг лужи и мычала в наш адрес какие-то свои, коровьи проклятья. В лужу лезть она не хотела. Она была брезгливой, аккуратной коровой.

Мы стояли и молчали.

Дно пруда было илистое, топкое. Честно говоря, мы по самый пуп стояли в противной склизкой грязюке. Только от пупа до шеи была вода — грязная, мутная и вонючая. Настоящие помои.

Долго мы стояли тогда с Явой в этих помоях. Полчаса, не меньше. До тех пор, пока Контрибуция не успокоилась и не отошла. Она ещё оказалась очень человеческой и благородной коровой. Потому что подкинула тореадора Яву не рогами, а просто мордой. И когда мы наконец вылезли из лужи, несчастные и грязные, как поросята, она и словом не вспомнила нам нашего недоброго к ней отношения. Мы остались с ней друзьями.

Ява после того не только никогда её больше не ударил, но всегда угощал конфетами, которые давала ему мама.

Вот такая история вышла у нас с Контрибуцией.

И теперь, когда мы, сокрушённо вздыхая, засыпаем наше неудавшееся метро, Контрибуция выглядывает из коровника и сочувственно смотрит на нас. И нам даже кажется, что на глазах у неё слёзы. Дорогая Контрибуция! Какое у тебя большое и нежное сердце! Ты единственная понимаешь и жалеешь нас. Спасибо тебе, корова!

— Ещё не кончили, архаровцы? — неожиданно прогремел сзади дед

Варава.

Мы потеряли бдительность — и вот наказаны.

Впереди стена свинарника, с боков густой бурьян, сзади дед Варава. Бежать некуда. Мы замерли на корточках — как цыплята перед коршуном.

— Не бойсь, не трону!

Эти слова подняли, выпрямили нас, разогнули нам ноги. И будто велосипедным насосом кто-то качнул — это мы разом вздохнули. И дрожащие губы наши сами собой растянулись в противную подхалимскую улыбочку. Но дед на улыбку нашу не ответил. Не любил дед таких улыбок. Суровый был дед Варава.

Лицо у него серое и пятнистое, как прелые прошлогодние листья. Губы тонкие, опущенные и так сомкнуты, будто во рту вода. Глаза без ресниц, круглые и неподвижные, как у петуха. Из-за этих круглых неподвижных глаз казалось, что дед навеки чем-то удивлён. Но это только казалось. Наверное, не было уже на свете ничего, что могло бы удивить деда Вараву. Восемьдесят третий ему пошёл.

— Кончайте, шмендрики, да идите уроки учить, экзамены скоро!

Мы скривились. Мы это знали. Но нам не хотелось думать об экзаменах. И кто только их придумал! Да ещё весной, когда воздух пахнет футболом и цурками-палками^[2], когда птицы галдят и когда так солнечно и тепло, что мы с Явой уже трижды купались. Как хорошо было прошлый год в четвёртом классе! Никаких экзаменов. Лучше было бы и не переходить в пятый. Никогда в жизни мы с Явой не сдавали экзаменов. Это будет первый раз. И хоть мы хорохоримся и говорим: «Наплевать!» — но у каждого из нас при мысли об экзаменах тоненько ноет в животе. Лучше двадцать метро засыпать, чем один экзамен.

— Всё, диду, кажется. Так, как и было. Правда ж? — несмело говорит Ява, притаптывая ногой свежую землю.

Дед косится на нашу работу — видно, что он не очень удовлетворен. Но говорит:

— Идите, идите уже. Но знайте, ещё раз что-нибудь такое этакое — уши оборву и свинье выброшу!

О том, чтобы чистить свинарник, дед ничего не говорит, да и мы не напоминаем — работа эта совсем неинтересная. Прижимаясь спинами к самому бурьяну, мы боком проходим мимо деда и, как только минуем его, сразу бежим со всех ног. И как раз вовремя успеваем проскочить: ещё миг — и шершавая рука деда с размаху прилепилась бы к нашим штанам...

Глава II

За великой китайской стеной. Кто такие Кныши

Я живу за четыре хаты от Явы. И через минуту мы уже переводим дух в нашем саду.

Мы сидим под вишней возле высоченного дощатого забора, который отделяет наш сад от соседнего. Сидим и печалимся, что такая досадная неудача постигла нас с этим самым метром. Впрочем, долго печалиться мы не умеем.

— Айда на великую китайскую...— говорит Ява. — Айда, — говорю я.

И мы начинаем карабкаться на забор.

Эту высоченную трёхметровую ограду соорудил наш сосед Кныш. Мы с Явой прозвали забор великой китайской стеной. Лишь в одном месте можно подняться на него — там, где прислонилась к нему наша старая вишня. Тут, почти на самом верху, проковыряли мы в заборе две дырочки и часто наблюдаем сквозь них, что делается на вражеской территории. Вы, может быть, думаете, что мы просто такие нескромные и невоспитанные — к чужим людям заглядываем. Совсем нет. Ничего не просто. Вы же не знаете, что это за люди. Разве хорошие нормальные люди от соседей такими стенами отгораживаются? И из-за чего? Как раз на меже росла у Кныша груша и протянула одну ветку в наш сад. И с той ветки груши иногда падали к нам. Мы, конечно, их все отдавали, но порой свинья (разве ей втолкуешь, где чья собственность) какую-нибудь падалицу невзначай и слопает — не уследишь же. Так из-за той поганой падалицы и соорудил Кныш великую китайскую стену. А груша, как назло, взяла и засохла.

Кнышиха была широкоплечая, костистая и хоть и не толстая, но какая-то квадратная. Глаза маленькие, как дырочки в пуговицах, а нос, или, как говорил тракторист Грыць Кучеренко, «румпель», огромнейший и похожий на топор. Если бы сам не видел, я никогда бы не поверил, что у женщины может быть такой здоровенный нос.

У Кныша, наоборот, нос был маленький. Зато волосатый был Кныш страшно. Руки, ноги, плечи, грудь, спина — всё-всё было покрыто густыми рыжими волосами, жёсткими, как проволока. Даже в ушах были волосы, которые торчали будто пакля (мы удивлялись, как доходили до Кныша

звуки, не запутываясь в этой пакле). И из носу торчали, и на переносице росли, и даже на кончике носа.

Кроме того, Кныш был ещё и какой-то мокрый — словно сырая стенка в погребе. Руки всегда мокрые, шея мокрая, лоб мокрый. Как-то он взял меня за плечо своей мокрой и холодной, как у мертвеца, рукой. Я даже передёрнулся весь. Бр-р! И ещё — когда Кныш смеялся, нос у него дёргался и кожа на лбу дёргалась (не морщилась, а именно дёргалась). И это было очень неприятно. Хотелось отвернуться и не смотреть.

Жили Кныши вдвоём, детей у них не было. И родственников, по моему, тоже.

В колхозе ни Кныш, ни Кнышиха почти не работали. Он считал себя инвалидом, потому что на животе с правой стороны был у него шрам, который он часто показывал, всегда повторяя при этом страшную историю своего ранения на фронте. Но говорили, что это враки: никакое это не ранение, а просто аппендицит, который ему вырезали задолго до войны, когда он ещё был мальчишкой.

Кнышиха тоже считалась очень больной. Болезнь у неё была неизлечимая и очень загадочная. Она шёпотом рассказывала о ней бабам, закатывая при этом глаза и приговаривая: «Я ж такая страданица, такая страданица».

Впрочем, эта неизлечимая болезнь не мешала ей каждый день таскать на базар тяжеленные корзины, а на праздники выпивать бутылку денатурчика. «Денатурчик» — так ласкательно называли Кныши страшный синий спирт-денатурат, на бутылке которого нарисован череп с костями и написано: «Пить нельзя. Отрава». Кныши не обращали внимания на ту надпись. Кныши что-то там такое делали с денатурчиком и потом пили его. Кныш был в этом деле тонким специалистом. Он говорил:

— Житомирский денатурчик — то действительно гадость, отравка. А вот черниговский... это, я вам скажу, здоровье! Украинский женьшень! Пей — и до ста лет проживёшь.

И Кнышиха и особенно Кныш любили выпить. Кныш выпивал почти каждый день. А на праздники, то есть на Новый год, на рождество, на Первое мая, на светлое воскресенье, на пасху, на День физкультурника, на храм и т. д. (Кныши не пропускали ни одного ни церковного, ни нашего, советского, праздника), они выпивали семейно, вдвоём.

В такой день с утра Кнышиха выходила за ворота и крестилась на телевизионную антенну, которая стояла на крыше сельского клуба (поскольку церкви в нашем селе не было, все богомольные бабы крестились у нас на телевизионную антенну, похожую на крест).

Потом Кнышиха возвращалась к себе во двор, где стоял под вишней уже накрытый стол, и начинался праздничный завтрак. Через какой-то час из-за великой китайской стены уже слышалось:

Ах, зачѐм эта ночч
Так была хороша-а-а —
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа...

Это пели гнусавыми голосами пьяные Кныши. После чарки их всегда тянуло на песню. Пели они долго, часа два или три. Пели и украинские народные, и русские, и песни советских композиторов, и песни из кинофильмов, и даже танго.

А потом до самого вечера Кныши в два голоса оглушительно, с перебоями храпели в саду, и благодаря денатурчику от них несло таким перегаром, словно это спали не люди, а за забором работали два трактора.

Праздновали Кныши всегда только вдвоѐм. Никого к себе не приглашали. К ним никто не ходил, и они ни к кому. Очень были скупые и боялись, чтобы кто-нибудь не увидел, что у них дома есть. На людях всё время прибеднялись.

— Да я же такой голый! Гол как сокол! — говорил Кныш. — С хлеба на воду перебиваемся. Чтоб я бога не видел! Даже на зиму ничего не запасли...

Зато Кнышиха каждое утро, отправляясь на базар, сгибалась под тяжестью двух огромных мешков. В них стояли корзины, сулеи с молоком. Корова у Кнышихи была одна из лучших в селе.

Я однажды слышал, как бабы говорили про ту корову:

— Ох же и молоко у той коровы! Ох же и молоко! Ну как смалец! Хоть ножом режь.

— Эге. Так что ж ты хочешь, как она её хлебом кормит. Каждый день тянет из города мешок. А в том мешке, думаешь, что? Булки! Батоны по двадцать две копейки штука. Корми я свою Лыску так, она тебе сметаной доиться будет.

— Ну да! А на базаре, я видела, продаёт молоко реденькое-реденькое, синее. Наполовину разбавляет, не меньше.

— И куда только милиция смотрит.

— Милиции не до Кнышихи. Милиция шпионов и бандитов ловит.

— А Кнышиха не бандит разве? Настоящий тебе бандит.

Короче, происходило за великой китайской стеной что-то не то, что-то подозрительное. Мы с Явой это уже давно заметили.

Однажды мы слышали, как Кныш таинственно сказал Кнышихе:

— Скоро будут у нас большие перемены... Как я тебе говорил. Сведения точные.

А то как-то вечером, когда уже стемнело, приезжали к ним какие-то два верзилы на мотоцикле с коляской, нагрузили что-то в коляску и сразу же уехали. И потом ещё дважды приезжали, и опять-таки вечером.

А однажды возле чайной Кныш, изрядно уже подвыпивший, кричал своим собутыльникам:

— Не боюсь я вашего Шапки... Какой он Шапка! Штаны он, а не Шапка. И не председатель-голова, а это самое... Он у меня вот здесь. — Кныш показал кулак. — Я уже написал куда следует. Скоро вашему Шапке дадут по ш-шапке... Фить — и нету... Ги-ги-ик!

Иван Иванович Шапка, председатель нашего колхоза, был очень хороший хозяин, и все у нас очень его любили. Все, кроме бездельников, лодырей и пьяниц, которым он спуску не давал. И Кныш всё время писал на Шапку жалобы и заявления, куда только можно. Причём писал всегда так, чтобы люди видели. Открывал ворота, выносил на двор стол, садился и, как школяр, склонив набок голову и высунув язык, царапал что-то на бумаге.

— О, опять пишет какую-то собаку, — насмешливо говорил дед Варава.

Жалобы Кныша, конечно, вреда председателю никакого не приносили. Но у людей тёмных вызывали к Кнышу уважение и даже боязнь — раз человек пишет, значит, силу имеет. Когда-то, говорят, Кныша из-за этих заявлений даже разумные люди боялись. Это делало его в наших глазах ещё более таинственным и загадочным.

И уж совсем мы сбились с толку после одного случайно услышанного нами разговора...

Дело было в Киеве, куда мы всем классом ездили на экскурсию во время зимних каникул.

Как-то раз, когда наши направились на концерт в филармонию, мы с Явой «на минуточку» отстали, чтобы сбегать посмотреть на находящееся поблизости «чёртово колесо». (Хотя оно зимой и не работает, но всё равно интересно.)

Побежали, покрутились возле «чёртова колеса» (жаль, что не работает!), собрались идти назад, смотрим — а на скамейке сидит Кныш с каким-то незнакомым человеком. Сидит спиной к нам — нас не видит. Но

зато мы его сразу узнали. И удивились, конечно. Что он тут делает? В Киеве, возле «чёртова колеса»... Остановились. Слышим такой разговор.

— Четвертак, не меньше, — говорит Кныш.

— Двадцатку, больше не могу, — говорит человек.

— Да вы знаете, как я рискую! Думаете, хочется в тюрьме сидеть? Четвертак, не меньше.

— Ну хорошо, не по-вашему, не по-моему — двадцать три.

— Только четвертак. Не могу меньше. Не могу!

Тут они вдруг умолкли: по аллее шёл милиционер. Кныш и незнакомый человек вскочили и исчезли.

С тех пор этот подозрительный разговор не давал нам покоя.

— И что бы это могло значить? — говорил Ява, медленно прищуривая левый глаз.

— Ага, что? — говорил я, прищуривая правый.

— Слушай, — прищурил Ява оба глаза, — а может, Кныш шпион? И это он нашу родину продавал?

— Что-то очень дешево. Двадцать пять рублей за родину?...

— А откуда ты знаешь, что рублей? Может, тысяч, а то и миллионов.

— Ну да? — недоверчиво сказал я.

— Вот тебе и «ну да». Нужно за ним следить.

— Нужно, — согласился я.

И мы начали следить. Регулярно. Почти каждый день.

Однако наши наблюдения пока что никаких результатов не давали. Кныш возился по хозяйству, кормил свиней, чистил коровник, ремонтировал сарай и ничего шпионского, к сожалению, не делал. Честно говоря, мне уже начали надоедать эти наблюдения. И вот я уже дал слово, что лезу на великую китайскую стену в последний раз.

Ничего интересного мы опять не увидели. Кныш копался на огороде. Кнышихи не видно — то ли в хате, то ли совсем нет дома. Поглядев минут пять, мы уже собирались слезать, когда вдруг из хаты вышла Кнышиха и сказала:

— А ну поди-ка глянь на улицу, нет ли кого, и калитку запри. А то ещё увидят эти злыдни...

Мы сразу наострили уши.

Кныш выглянул на улицу, осмотрелся, потом запер калитку и пошёл вместе с Кнышихой в хату.

— Слышал? Видал? — взволнованно шепнул Ява.

Я не знал, что ответить.

— Надо как-то подглядеть, что они будут в хате делать, — заявил

Ява. — Может, шпионские деньги в наволочку зашивать будут или по рации передавать что-нибудь...

— Давай перелезем через великую китайскую стену, а потом на орех, который возле хаты, с него через окно всё будет видно, — шепчу я.

— Айда.

Мы не стали терять время и через какую-то минуту уже сидели в густых ветках ореха и вглядывались через окно в хату Кнышей. В хате было темновато, и мы не сразу разобрали, что там происходит. Наконец увидели, что Кныш и Кнышиха сидят за столом с ложками в руках и что-то едят. Мы хорошенько присмотрелись и удивлённо глянули друг на друга. Кныши ели... торт. Обыкновенный бисквитный торт с кремовыми и шоколадными розами и вензелями. Ели торт ложками, как кашу. Ели тайком, спрятавшись от людей, как воры.

— Ну всё, продал! — неожиданно прошептал Ява.

— Что продал? — не понял я.

— Родину продал, иуда! Раз торты ложками уминают, значит, всё! — Ява сказал так решительно и убеждённо, словно торт был неоспоримым доказательством Кнышовой измены.

Мы были так взволнованы, что даже не заметили, как Кныш вышел из хаты. Увидели его лишь тогда, когда он уже стоял на крыльце и, отрывая, скручивал себе сигарку. От неожиданности я вздрогнул, и ветка подо мной треснула. Этого было достаточно, чтобы Кныш заметил нас.

— А вы что тут делаете?! Ах вы ворюги! Ах вы щенята! По чужим деревьям лазите, стервецы! Вот я вас сейчас! Я вам ноги из штанов повыдёргиваю-повырываю за такое дело! А ну слазьте, злодюги!

Он стоял под деревом и так размахивал руками, что казалось, от этого поднялся ветер. Слезть — это означало верную гибель. И мы закарабкались вверх.

Кныш продолжал бушевать внизу.

— Дядя, детей любить надо, — вдруг жалобно сказал Ява.

— Да-да, нас надо любить, — поддакнул я, со страхом прислушиваясь, как трещит подо мною ветка.

— Все советские люди любят детей, — продолжал Ява. — Об этом и учительница говорила, и во всех газетах написано.

Кныш совсем рассвирепел:

— Я вас полюблю! Я вас так полюблю, что опухнете! Вы разве дети? Бандиты вы, а не дети! Убивать надо таких детей!

И тогда Ява сказал:

— Дядя, а вы знаете, мы вас в Киеве видели. Как вы в парке с каким-то

дядей торговались...

И Кныш вдруг умолк. Сразу. Так, как будто бы выключили радио. Потом что-то такое невнятно прошамкал, что мы и не разобрали, и снова умолк. Вид у него был обалделый и даже придурковатый.

Кнышиха, которая на крики своего мужа вышла из хаты и стояла на крыльце, тоже какое-то время смотрела растерянно. А потом набросилась на Кныша:

— Ну, чего ты прицепился к детям? Чего? Ишь как напугались, бедняжечки, лица на них нет...

— Да я разве что? — уже совсем другим тоном забормотал Кныш. — Я разве бить, я только постращать хотел, чтоб по деревьям не лазили.

— Не бойтесь, мальчики. Слезьте и идите себе, идите, идите, — ласково проговорила Кнышиха.

Нас не надо было долго упрашивать. Вмиг мы слезли с ореха, прошмыгнули мимо Кнышей и выскочили на улицу.

— Ну, что ты скажешь? — спросил Ява.

— Ты смотри! Как он перепугался, когда ты сказал! Умолк, словно язык проглотил. Значит, дело серьёзное.

— А я тебе что говорил!

— И Кнышиха сразу как всё перекрутила, чтоб замять... От змеюка!

— Короче, за ними надо следить — это факт! Надо их разоблачить! Во что бы то ни стало, любой ценой! Не жалея сил! Надо просто посвятить себя этому!

Впрочем, полностью посвятить себя разоблачению Кныша мы сейчас, к сожалению, не могли. Через два часа в школу (мы учимся во второй смене), а за уроки мы ещё не садились.

Разом вздохнув, мы поплелись ко мне учить уроки.

Глава III

«Дети за сажеей»

Сегодня контрольный диктант. Галина Сидоровна задала повторить правописание суффиксов. Это и на экзамене будет.

— Провались они пропадом, эти суффиксы, вместе с префиксами и самой грамматикой! И вообще она не нужна! Не всё равно, как писать — грамотно или неграмотно. Лишь бы понятно было, — раздражённо говорит Ява.

Но это всё разговорчики. От них легче не становится. Я раскрываю учебник и начинаю читать:

— «Если основа слова заканчивается на дэ, тэ, зэ, сэ, жэ, то для образования существительных, обозначающих названия людей по их профессии, занятиям, употребляется суффикс „чик“, а не „щик“. „Шик“ во всех остальных случаях. Примеры: переводчик, переплётчик, извозчик, разносчик, перебежчик. Но — обойщик, стекольщик».

Закрываю учебник и говорю Яве:

— А ну повтори!

Ява смотрит в небо и начинает:

— Суффикс «чик», а не «щик», который обозначает профессию, пишется после дэ, тэ... зэ... зэ... — И по глазам видно, что мысли его где-то далеко-далеко, в лесу или на реке, среди шумливых камышей, где плещется рыба, и крикает в зарослях дикая утка. — Зэ...зэ... дэ, тэ... зэ... тьфу! Вот зараза! А ну давай ты!

Я тоже закатываю глаза и начинаю бубнить:

— Суффикс «чик», а не «щик» пишется, когда основа оканчивается на зэ, дэ, тэ, сэ... сэ... сэ... — Дальше почему-то не идёт.

Я начинаю сначала, но опять не выходит. Тогда я чуть приоткрываю учебник (палец мой предусмотрительно заложен на нужной странице) и пытаюсь заглянуть.

Но Ява не даёт:

— Нет, нет, не подглядывай. Ты на память.

На память у меня не получается. Раскрываем учебник и снова читаем. Пока читаем — всё в голове. Закроем — как ветром выдуло.

— Вот заноза! — сердится Ява. — Каких-то пять букв — и никак не запомнишь. Когда пишется «щик», легко — во всех остальных случаях,

хотя таких случаев миллион. А тут всего пять буквочек, после которых «чик», — и хоть ты тресни... Слушай, знаешь что — давай придумаем на эти пять букв слово. Слово большое — его сразу видно, а буквочки, как букашки, маленькие, разве их запомнишь.

Мне эта идея понравилась, и мы начинаем сочинять слово.

— «Же-ле-зо», — говорит Ява.

Прекрасное слово, но «л» мешает (никому оно не нужно), и нету «д», «т», «с» — большей половины букв.

— «Ди-вер-сант», — говорю я.

— Замечательное слово, ещё лучше, чем «железо», но куда ты денешь «в», «р», «н», и как ты вместо них вставишь «ж» и «з»?

Мучились мы долго. Какие только слова не брали! И «дот» и «динамит», и «желток», и «зонтик», и даже «дизентерия». Все они были неподходящие.

— «Же-же... жест»... — задумчиво тяну я.

— А зэ и дэ куда прикажешь всунуть?

— «До-о-лжность», — бормочет Ява.

— Зэ нету в твоей «должности». И лы здесь, и ны. Не проходит такая «должность».

— А ну её в болото! — сердится Ява.

— «Бо-ло-то», — бормочу я. — Тьфу! Так и с ума сойти можно!

— Слушай, — раздражённо говорит Ява, — а кто сказал, что обязательно нужно только одно слово? А если два коротеньких? А ну, какие там буквы?... Дэ, тэ, зэ, сэ, жэ... Значит, так... Дэ, тэ... дэ, тэ... Ну, так о чём разговор? Дэ, тэ — это «дети». Ясно. Дальше что там? Зэ, сэ, жэ... сэ... сэ... жэ. «Са... жа»... «Са-жа»... «Дети», «сажа»... Остаётся зэ... зэ... за... «Дети за сажей». Всё... Готово.

— Что-готово? Ерунда какая-то! «Дети за сажей»... Никакого смысла!

— А какого тебе ещё смысла? Что ты — стихи сочиняешь, что ли? Тебе правило надо запомнить. Чтоб знать, что после чего пишется. А он — смысл, смысл!... «Дети за сажей». Я, например, уже запомнил. «Дети за сажей» — «чик», всё остальное — «щик». Здорово! Почти как стихи.

— А вообще ничего, запомнить можно, — согласился я.

— Не «ничего», а просто здорово! — радовался Ява. — Вот если бы на все правила такое попридумывать! Сразу отличниками можно стать. Вот мы и молодцы! Гении!

Никогда мы не шли на диктант в таком весёлом настроении. Пели: «Нам не страшен серый волк...» — пели.

— Чего это вы распелись? Наверное, забыли, что сегодня контрольная

диктовка? — спросила нас возле школы Ганя Гребенюк, наша одноклассница.

— Ничего мы, Гребенючка, не забыли, — ответили мы. И снова запели:— «Нам не страшен серый волк...»

Когда мы вошли в класс, то заметили, что все очень волнуются. Особенно наш первый отличник Стёпа Карафолька. Карафолька сидел за партой белый как сметана и его била мелкая лихорадочная дрожь.

Лучше сроду не получать пятёрок, чем так портить здоровье.

В класс вошла Галина Сидоровна.

Все положили перед собой чистые листы бумаги, взяли ручки и вытянули шеи, как гусаки, — приготовились.

Галина Сидоровна начала диктовать:

— «Старый извозчик привёз в штаб белогвардейского перебежчика».

Я вмиг представил себе старого извозчика, похожего на деда Саливона, такого же добродушно-лукавого и беззубого, который везёт на пролётке в штаб растерянного, похожего на Карафольку, белогвардейского перебежчика.

«Хороший диктант, — подумал я, — очень даже лёгкий и понятный».

— «Старый... извозчик...» — чётко, по словам, диктовала Галина Сидоровна, прохаживаясь между партами.

Высунув язык и склонив голову набок, мы старательно скрипели перьями.

— «...извозчик...»

Я на секунду замер.

«О! „Дети за сажей“... точно! Так что же после этих „детей“? „Чик“ или „щик“? „Чик“ или „щик“?»

Этого я не помнил, хоть убей. Слышалось «щик», безусловное, стопроцентное «щик», а не «чик».

— «...привёз... в штаб...» — продолжала диктовать Галина Сидоровна. Больше думать было некогда, и я аккуратно вывел: «извощик».

«Перебежчика» я за компанию (раз они ехали на одной пролётке) тоже написал через «щ»...

— Ну как? — спросил меня Ява после диктанта.

— Порядок, — уверенно сказал я. — А у тебя?

— Будь здоров! — подмигнул Ява. Мы чувствовали себя именинниками.

На следующий день Галина Сидоровна вернула диктанты.

— Гребенюк — четыре, — называла она отметки. — Карафолька — пять. Ну, а Завгородний (это я то есть) — три с минусом. Рень (это Ява) —

два!

Нас будто кто мокрой тряпкой по шее шлёпнул.

— Допелись! — хмыкнула Гребенючка. Я показал ей кулак.

— А с тобой, Рень, я просто не знаю, что делать, — вздохнула Галина Сидоровна. — Через две недели экзамен, а ты ровно ничего не знаешь. Ведь суффиксы — это материал первой четверти.

Мы возвращались из школы мрачные и молчаливые. Вот тебе и «дети за сажей»! Мне было неудобно перед Явой за свою тройку с минусом. Так, словно я провинился перед ним. Вместе же учили, вместе придумывали этих дурацких «детей». А какие-то пол-отметки — и уже нет единства. Эх! Лучше бы и я получил двойку!

— Хочешь, я пойду и скажу, чтоб она и мне поставила двойку? Что это нечестно, что мы одинаково знаем.

— Тю, ненормальный! Думаешь, я переживаю? Двойка! Плевать!

Мне вообще почему-то всегда больше везло на диктантах, чем Яве. То ли он был такой невнимательный, то ли ещё что-то, но диктанты для него всегда кончались плохо. Устно он ещё мог иногда ответить грамматику на тройку, а пару раз бывало, что и на четвёрку. А в диктантах — двойка за двойкой. И я знал, что Ява очень переживает свои неудачи. Но он был гордый.

— Может, давай всерьёз засядем за повторение? — несмело предлагаю я.

— Засаживайся, если тебе нужно, — не глядя на меня, говорит Ява, — а мне оно ни к чему.

— Да оно же знаешь как!... Всё-таки же экзамен, — осторожно начинаю я. — А что, если и на экзамене двойка! Могут же не перевести.

— Что-о?... Эх, ты! Ничего ты не понимаешь... Думаешь, это так легко! У них же свой план по пятёркам и даже по тройкам. А за каждую двойку знаешь какие неприятности! От них же знаешь как требуют эти самые... как его... инстанции. Я слышал, Галина Сидоровна моей маме жаловалась. Так что не бойся — тройку как-нибудь поставят. К тому же моя мама депутат. Это тоже что-нибудь да значит.

— Ну, раз так, тогда, конечно...

А что ж ты думал!

Явина уверенность передалась мне, и настроение у меня сразу исправилось.

Утром мы уже забыли и думать про диктант, про грамматику, про экзамены и возились на реке возле старой полузатопленной плоскодонки. Мы решили сделать из неё подводную лодку. Конечно, это была опять

Явина идея.

— Воду вычерпать, дырки заткнуть, просмолить, верх забить досками. Тут перископ. Вот здесь люк. На дно балласт, — озабоченно говорил Ява.

— А двигатель?

— На вёслах будет. Нам же не надо, чтоб очень быстроходная. Лишь бы подводная.

— А дышать как?

— Через перископ.

— А на поверхность как всплывать?

— Балласт выбросим и всплывём.

— А если водой зальёт и затопит?

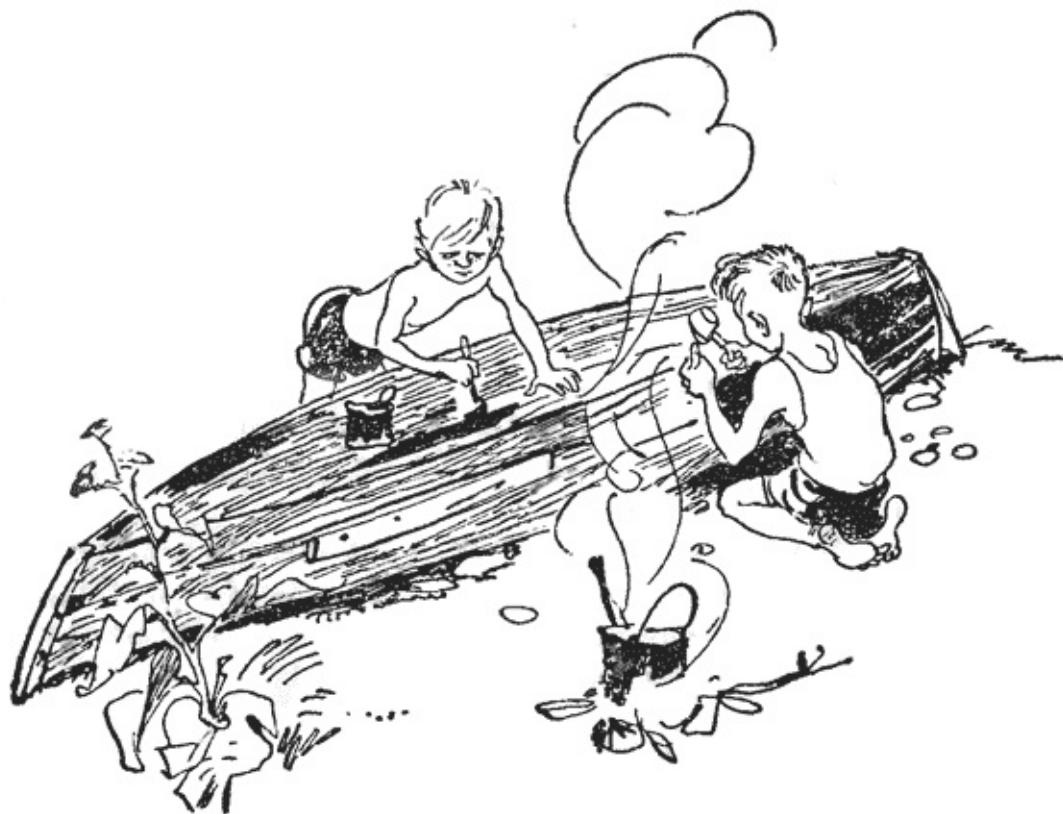
— Ты что — плавать не умеешь? Вот ещё!

Глава IV

Экзамен

Как быстро летят дни! Мы едва успели зашпаклевать и просмолить свою «подводную» лодку (ещё и верх не покрывали, и перископ не устанавливали), а уже и экзамен. Завтра. Мы сидим на берегу и варим на костре смолу — досмаливаем лодку.

Смола варится и булькает, как манная каша. И в груди у нас булькает тревожное предчувствие завтрашней беды.



— А чего мне переживать? — словно отвечая какому-то внутреннему голосу, говорит Ява. — Я всё равно не успел бы выучить всю грамматику. За две недели! Кто же её за две недели выучит! Люди её веками выдумывали, головы себе сушили. Сколько учёных полысело на этой грамматике. А хотят, чтобы я её выучил за две недели. Кино!

«А кто тебе не давал целый год учить?» — хочу сказать я, но не говорю: поздно уже говорить, да и чего это я такой умный — я и сам не

очень учил и тоже могу получить завтра двойку. Запросто! Экзамен — это экзамен, и кто там знает, что оно будет — удача или неудача.

— Давай, может, всё-таки что-нибудь повторим, на всякий случай, — говорю я.

— Перед смертью не надышишься. Только в голове всё перепутается.

— А Карафолька, я видел, повторяет, и Гребенючка тоже.

— Пускай. Они всё знают, им нужно повторять. А мы ничего не знаем. Нам и повторять нечего. Нам учить нужно. А всё сразу не выучишь.

Как хорошо, что Ява говорит «мы», «нам». Он знает, что мне всегда хочется всё делить с ним поровну — и радости и печали.

До позднего вечера пробыли мы с Явой на реке возле лодки...

И вот наступил день, великий день первого в нашей жизни экзамена.

В школе празднично и торжественно, как во время выборов (у нас и агитпункт и избирательный участок всегда в школе). В коридорах постелены дорожки, на окнах цветы, стол в классе накрыт красной скатертью. Даже плакат висит в вестибюле: «Добро пожаловать!» Только не играет гармошка и не работает буфет с пивом, как во время выборов.

Девочки в белых передниках, хлопцы непривычно умытые и причёсанные.

Входим в класс. В груди холодно, как перед прыжком с вербы в реку. Садимся. Каждый за отдельную парту. Списать — и думать нечего. Звенит звонок.

Заходит Галина Сидоровна, с красивой причёской, в шёлковом платье. За ней идёт Николай Павлович, учитель географии. Он у нас на экзамене ассистент.

Галина Сидоровна становится у доски, сжимает руки, словно сейчас петь будет (она, видно, тоже волнуется), и говорит:

— На первой странице каждый напишите: «Экзаменационный диктант ученика, ученицы пятого „Б“ класса Васюковской средней школы» — и свою фамилию.

Мы задерживаем дыхание, склоняем головы, пишем.

Экзамен начался.

Ученики сопят, перья скрипят.

Пот течёт мне за воротник праздничной рубашки. Ох и мука адская этот экзамен!...

Наконец — всё!

В полном молчании мы выходим из класса. Идут все вяло, еле ноги тянут — как после двухдневного пионерского похода.

Я подхожу к Яве:

— Ну как?

Он только рукой махнул. По всему видно, что дела у него плохи. Все надежды теперь на маму-депутата и на те инстанции, которые требуют от учителей план по пятёркам.

Давно уже можно идти домой, но все толпятся возле школы и не расходятся. Каждому не терпится узнать, как оно там, как написалось. Галина Сидоровна закрылась в классе с Николаем Павловичем — проверяют.

И даже школьный пёс Собакевич, который всегда носится по двору вместе с нами, сейчас присмирел и сидит у дверей — вроде тоже переживает.

Уже дважды Николай Павлович выходил на крыльцо покурить и говорил:

— Чего вы? Идите домой. Всё равно сегодня ничего не скажем. Завтра утром приходите.

Потопчемся мы немножко, двинемся к воротам. Потом глядь — кто-то остался.

«Ага, — думает каждый, — он останется и узнает, а я как дурак дома сидеть буду. Нет!»

И назад. Сперва тихо было, потом девочки «классы» на земле понарисовали, запрыгали на одной ноге, мальчики в пятнашки завелись. Всё-таки время не так долго тянется.

И вот наконец двери открылись, и на крыльцо вышла Галина Сидоровна. Все — сразу к ней. Хлопцы молчат, а девочки, как сороки:

— Галина Сидоровна, ну скажите! Галина Сидоровна, ну пожалуйста! Галина Сидоровна, дорогая!

Галина Сидоровна отрицательно качает головой: «Завтра, завтра». Но девочки не отстают.

— Галина Сидоровна, ну хоть намекните!

Улыбнулась учительница:

— Хватит уже, хватит вам. Успокойтесь. Отметки объявим завтра на родительском собрании. А вообще все перешли в шестой класс... Все, кроме...

И на Яве взглядом остановилась:

— Все, кроме Реня. Тебе, Рень, придётся ещё раз писать. Осенью. Переэкзаменовка у тебя. Написал ты диктант даже не на двойку, а на единицу. Сам виноват — сколько раз я тебе говорила...

Мне больно было смотреть на Яву. Он стоял бледный, с опущенной головой.

Эх ты, мама-депутат! Эх вы, инстанции, которые требуют пятёрок!

Я никогда не видел Яву, всегда независимого и насмешливого, таким униженным, жалким и одиноким. Были все — весёлые и счастливые, что перешли в шестой класс. И был он — один со своей переэкзаменовкой. Я боялся, что он вот-вот заплачет. Должно быть, он сам этого боялся. Потому что крутнулся вдруг на одной ноге, рванулся и побежал. Никто не стал его догонять. Даже я. Что я мог ему сказать, чем успокоить? Я перешёл себе в шестой класс, а у него переэкзаменовка.

Впервые в жизни разные наши судьбы. И ничто, ничто до самой осени, до переэкзаменовки, не сделает нас равными, как когда-то. Да ещё и неизвестно, что будет осенью.

С тяжёлым сердцем возвращался я домой. И радости, что я сдал первый в своей жизни экзамен, не было.

В тот день я больше Яву не видел. И не знаю, как встретили у него дома эту грустную новость. Да, уж конечно, пирогов не пекли и патефон не заводили... Знаю только, что на следующий день на родительское собрание Явина мама не пришла. Ей, наверное, было очень стыдно. Кстати, за экзаменационный диктант я получил не тройку, а четвёрку. Меня даже в жар бросило, когда я узнал об этом.

Годовую мне, конечно, вывели тройку, но всё равно получить на экзамене четвёрку было... ну, как... ну, как выиграть, например, в денежно-вещевую лотерею автомобиль «Москвич». Я даже не мечтал!

Это, наверное, с перепугу, от нервного напряжения.

Когда прошло первое удивление, я сразу подумал: «Яве, наверно, будет неприятно, когда узнает». И стало мне досадно, будто я поступил не товарищески. Да разве я хотел!...

Грустно было на сердце. Хотя лично у меня, казалось бы, все основания были для радости: и экзамен я сдал, и в шестой класс перешёл, и в Киев послезавтра еду, в гости к дяде своему, на целый месяц.

Я так мечтал поехать в Киев вместе с Явой, пойти с ним в Исторический музей и осмотреть хорошенько и казацкое оружие, и личные вещи Ковпака, Руднева, Кузнецова и других героев... И вообще всё осмотреть. Разве во время той двухдневной экскурсии мы могли успеть что-нибудь? А целый месяц в Киеве — это же здорово! Я уж и с отцом договорился, и дядька киевский не возражал против Явы. А теперь... Разве пустит теперь мама Яву в Киев! Вряд ли. А может... Надо всё-таки попробовать.

Я пошёл к Яве.

Он сидел на завалинке и чистил в деревянное корыто картошку и

свёклу для свиньи Манюни. Это была препротивная работа, которой Ява всегда избегал. А теперь он, по-стариковски сгорбившись, покорно резал тупым ножом бугристые картофелины и свёклу с крысиными хвостами. И лицо у него было такое... такое было лицо...

Ява молча кивнул мне, продолжая резать свёклу.

— Ява, — дрожащим голосом сказал я. — Ну чего ты, Ява?

— А что? Ничего, — тихо сказал он, не поднимая головы.

Я не знал, что говорить дальше. Я стоял и молчал. Он тоже молчал. Потом, всё так же не глядя на меня, вдруг спросил:

— Едешь в Киев?

— Послезавтра. А ты?

— А я... — криво улыбнулся он. — В Париж. А потом в Рио-де-Жанейро.

...Зря я спросил — конечно же, он никуда не едет. Никуда он не едет, бедный Ява. А люди едут. Вон Карафолька сегодня утром в пионерлагерь поехал, к морю. Никогда мы с Явой — не были на море. Только в кино видели. А как нам хотелось к морю!... Синие дали, белые корабли, чайки стонут над волнами, реют альбатросы, в дымке мигает огонь маяка... «Курс норд-ост!» — кричит капитан...

Море...

В прошлом году мы дважды пробовали бежать к морю. И дважды нас ловили на станции.

Карафолька же никуда не бежал, а официально поехал к морю. В плацкартном вагоне. У открытого окна. Ещё и мороженое пломбир по девятнадцать копеек на перроне, чертяка, ел. Я сам видел...

— Так послезавтра, говоришь, — вздохнул Ява. — Ну что же. Приедешь — расскажешь.

И такая покорность неумолимой судьбе звучала в этих словах, что у меня защемило в горле. Неужели это он, мой храбрый и мужественный друг Ява!

Эх, что сделали с человеком! И с каким человеком!

Да знаете вы, как он играет в цурки-палки, как бьёт пенальти, как прыгает вниз головой с самой верхушки старой вербы в реку! (А ну, пусть прыгнут так ваши отличники, пусть попробуют!)

Эх, люди! Ничего вы не понимаете!

Из хаты вышел дед Варава. Не глядя на нас, направился к колодцу, который был у них возле перелаза. И только дед загремел цепью, спуская вниз ведро, как с улицы подошёл к колодцу... Кньш.

— День добрый, диду, — вежливо поздоровался, стал и на нас искоса

посматривает. И вдруг говорит: — Я слышал, у вас неприятность, можно сказать, большая. Хлопчик вашенький на экзаменах в школе провалился. Один на всё село. Ай-яй-яй!

Дед нахмурился и молчит. А Кныш своё:

— Ну и бюрократы в той школе. Да как и везде теперь. Жалко им было, чтоб хлопец перешёл в шестой класс. И это, должно быть, нарочно. Знают, что мама депутат, так чтоб насолить. И вообще только здоровье отнимают у детей в той школе. И кому это нужно... Один, знаете, выучился на инженера и без штанов ходит, а другой расписаться не умеет, а имеет и хлеб, и даже с маслом... так что...

Дед как раз вытянул ведро.

— Извиняюсь, некогда мне, — сказал он и, не взглянув даже на Кныша, пошёл в хату.

Кныш скривился, плюнул на землю, вытер ладонью мокрые губы и пошёл прочь.

Как жаль, что нам не до него, что у нас переэкзаменовка, что не можем мы сейчас вывести его на чистую воду. Но берегись! Мы ещё доберёмся до тебя, Кныш! Мы всё раскроем!

Глава V

Как Ява стал Робинзоном Кукурузо

Я поехал в Киев.

Ну, что вам сказать? Этот месяц, ясное дело, был очень интересный. Побывал я, конечно, прежде всего в Историческом музее. Был я там с дядькой своим, который много рассказывал мне об истории нашей Украины, об истории Киева. Целый день бродили мы по залам музея. И вообще побывал я в Киеве везде, где только можно было. Даже катался по Днепру на «Ракете», что на подводных крыльях.

Очень я скучал по Яве этот месяц. Всё время вспоминал Яву и жалел, что его нет рядом со мной. Что бы я ни увидел, всегда думал: «Вот это б Яве понравилось! Вот бы Ява обрадовался, если б увидел!»

Я даже написал ему из Киева письмо, но он не ответил. Может, боялся, что ошибок наделает. Кто его знает. Гордый он хлопец, Ява.

И вот я возвратился домой. Только с мамой, с папой поздоровался и — к Яве. В кармане электрический фонарик лежит, «динамический» (рукой нажимаешь, в середине что-то визжит и крутится и загорается лампочка — никаких батареек не нужно). Это подарок Яве из Киева.

Иду я, а у самого сердце стучит, словно колёса поезда, — ту-тук, ту-тук, ту-тук... Волнуюсь. Целый месяц же не виделись. Подхожу — смотрю, а он как сидел перед моим отъездом на завалинке над корытом, так и сидит и картошку чистит. Кино прямо! Будто он целый месяц с завалинки не вставал.



Кашлянул я, он голову поднял, меня увидел. Бросились мы друг к другу.

Вот радость!

— Ну! Здоров! — хлопаю я его по спине.

— Здоров! Ну! — толкает он меня в плечо. Не целоваться же нам.

Вытащил я из кармана фонарик.

— На, — говорю, — это тебе.

Смутился он, растерялся:

— Да зачем! Вот ещё!...

А у самого глаза так и горят. Ещё бы! Такой фонарик! Вечный!

Ява тут же стал пробовать, как он действует. А я начал рассказывать про Киев. Мне не терпелось поделиться с ним своими впечатлениями. Это же закон — если не поделишься впечатлениями, и радости по-настоящему не почувствуешь. Я всё время говорил, а он молча кивал головой или поддакивал: «Ага», «Ты смотри», «Да ну?», «Интересно». И это было как-то непривычно. Потому что всегда он говорил, а я слушал. Фантазии у него было больше, чем у меня. А тут вышло наоборот. Сперва я увлёкся и ничего не замечал. А потом заметил, что он становится всё грустнее и мрачнее.

Я словно споткнулся, оборвал себя на полуслове:

— А вообще... а вообще ничего особенного. Ну, а у тебя как? Как тут Кньш? Ты что-нибудь новое выследил?

— Не-а. — Ява махнул рукой. — Я его почти не видел.

— Ну, а у тебя у самого как дела? Он пожал плечами и отвернулся:

— Никак.

— Ну всё-таки? На рыбалку. В футбол. В цурки-палки. Да?

— Нет.

— Что — нет?

— Ни разу я на рыбалке не был. И в футбол не играл. И в цурки-палки.

— Да ну?

— Вот тебе и ну. Не пускает меня мать никуда. Только уроки и только возле свиней да возле коровы вожусь. Настоящим батраком стал крепостным. Как Тарас Шевченко. Впору стихи писать — «Мені тринадцятий минало...».

— Да-а, — как только мог сочувственно, протянул я.

Ява вздохнул:

— Замучился я, Павлуша. Не могу больше. Думаю бежать.

— Куда?

— На какой-нибудь необитаемый остров.

— Тю, дуралей! Где же ты возьмёшь этот необитаемый остров? Теперь таких островов и не бывает.

— Бывает. Это ты не знаешь.

— Как же ты убежишь, когда мы и до моря с тобой доехать не сумели? Тебя же на первой станции поймают.

— А я и не пойду на станцию. Зачем мне станция?

— А как же?

— В плавни подамся. Знаешь, сколько там островов!

Это я знал. Плавни у нас знаменитые. Начиная от нашего села на много-много километров тянутся они на юг. Как заедешь, куда ни кинь глазом — всюду плавни, от края до края.

Чистоводье чередуется с топью, покрытой кочками, с островками, заросшими осокой и вербами. Но в основном плавни — это камыши. В тех камышах люди прорезали так называемые «стружки» — узкие извилистые коридоры чистоводья, по которым можно проехать лодкой. Заблудиться в этих стружках — раз плюнуть.

Недаром во время войны плавни наши были партизанским краем. Сотни партизан скрывались здесь, и немцы ничего не могли с ними сделать.

А дичи в плавнях, как мошкары, — темно. И крыжни, и чирки, и лыски, и бекасы, и дикие гуси... Чего только нет!

Для охотников наши плавни — настоящий охотничий рай. «Эльдорадо», как говорит учитель географии Николай Павлович, тоже заядлый охотник.

Да, знаменитые у нас плавни. И, конечно, найти какой-нибудь необитаемый остров там очень просто.

— Но как же ты там жить будешь? Пропадёшь же, как булька на воде, пропадёшь. Помнишь, как Гунька пропал?

...Жил в нашем селе когда-то блаженненький Гунька. Пришелец-бродяжка. Никто не знал, как он в селе появился. Зимой босиком ходил, без шапки. Старухи его святым считали. Тихий был, никого не трогал. Ходит себе по селу и смеётся: «Ги-ги... ги-ги». Любил в плавнях бродить. Уйдёт — два дня нету. Потом является — худой, голодный, заросший рыжей щетиной. Даже зимой в плавни ходил, по льду. В трескучий мороз пойдёт, разожжёт на острове большущий костёр; люди уже думают, плавни горят. Приходит. «Ху, — говорит, — натопил. Теперь в селе тепло будет». Два года назад пошёл Гунька в плавни и не вернулся — то ли действительно погиб, утонул где-то в болоте, то ли просто ушёл из села, так никто и не знает. Больше его не видели.

— Неужели хочешь пропасть, как Гунька? — повторил я.

— Не пропаду, — уверенно сказал Ява и вытащил из-под рубашки книгу. — Вот жил же человек на необитаемом острове, и ничего. Не пропал.

— Что за книга? — спрашиваю.

— «Приключения Робинзона Крузо». Читал?

— Нет. Что это за Кукурузо?

— Крузо, а не Кукурузо, чудак. Очень интересная книга.

— Книга книгой, а плавни плавнями. Ты лучше подумай.

— Я уже думал. И решил окончательно. Ты меня знаешь. Я только тебя ждал, чтобы посоветоваться и чтоб ты мне немного помог.

Это меня обезоружило. Раз человек обращается к тебе за помощью, отговаривать его — свинство.

— И надолго ты собираешься на тот остров? — спросил я.

— Робинзон пробыл на необитаемом острове двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней, — вздохнув, сказал Ява.

— Ого-го! Это же сколько тебе тогда будет? Сорок с хвостиком. Это мы все уже школу окончим и институты. Карафолька академиком станет, Гребенючка агрономом. Я лётчиком... если получится. А ты...

— Что ж поделаешь, — опять вздохнул Ява.

— Слушай, а кто же будет за Кнышом следить? Кто будет его разоблачать, выводить на чистую воду? Может, он и в самом деле опасный шпион и преступник?

Ява смутился. Я уже торжествовал, считая, что он сейчас откажется от

своей затеи, но он сказал:

— Нет, ничего я не забыл. Но придётся тебе самому следить за Кнышом и разоблачать его. А я не могу тут больше жить. Не могу.

Я помолчал.

— А может, всё-таки не будешь бежать? Перетерпишь, перемучишься как-нибудь.

— Нет, раз я решил — всё!

— А чтоб он сгорел, тот Кукурузо, что надоумил тебя на остров бежать! Так это же мы уже в детстве больше и не увидимся? — с отчаяньем сказал я. — С кем же я в цурки-палки играть буду? С Карафолькой что ли?

Ява сморщил лоб, посмотрел на меня, что-то соображая. И, помолчав немного, сказал:

— Почему это не увидимся? Ты один будешь знать про остров. И будешь иногда приезжать... Робинзон тоже не совсем один был. Потом он спас дикаря Пятницу и вдвоём с ним жил. Так что...

— Выходит, я буду у тебя дикарём, — нахмурившись, сказал я. — Ты, значит, герой... А я дикарь. Вот Кукурузо!

— Да Крузо, а не Кукурузо. Робинзон Крузо. Понятно?

— Это он был Крузо, а ты — Кукурузо. Как раз подходящее для тебя имя. Помнишь, как мы в кукурузе... — И я хихикнул.

Так Ява перестал быть Явой, а стал Робинзоном Кукурузо. Видимо, на роду ему было написано носить выдуманные имена.

«Что же случилось в кукурузе?» — спросите вы.

Читайте дальше — и всё узнаете.

Охотно вам расскажу. Слушайте.

Глава VI

Что случилось в кукурузе

Однажды (это было прошлой весной) Ява неожиданно предложил:

— Давай, Павлуша, вырастим новый сорт кукурузы. Я уставился на него: заболел он, что ли?

А он...

— Кукуруза, — говорит, — очень важный сельскохозяйственный продукт, и выращивание новых её сортов — дело большой государственной важности. И вообще селекционеры-мичуринцы очень уважаемые люди — не меньше космонавтов. Вот моя мать, смотри, и депутат, и в Киев на совещания ездит, и в президиуме всегда сидит.

Слушал я, слушал, а потом не выдержал.

— Тю, — говорю, — на тебя! Тоже ещё нашёл весёленькое дельце — кукурузу выращивать. Ею и так все занимаются. И в газетах, и по радио, и где хочешь...

Посмотрел он на меня, скривился презрительно.

— Ты, — говорит, — Павлуша, дубина. Ничего не понимаешь. Да ты знаешь, что бы это для меня значило, если бы я изобрёл новый сорт кукурузы! Какой это был бы выход! И-эх! Никакая грамматика, никакие штаны не были бы страшны для меня. Начала бы меня мама за штаны или грамматику ругать, а я ей только — раз! — новый сорт кукурузы. Она — ах! — и про всё на свете забыла. Кукуруза — это же её жизнь. Освободился бы я от неприятностей навеки.

Кроме грамматики, многие беды Явы были связаны со штанами. Штаны на Яве горели. Любые новые штаны из любого самого прочного материала за полмесяца превращались в отрепье. Потому что такой уж был у Явы характер. Ява не ходил, не бегал, а летал. Если сравнить его характер с авиацией (вы же знаете, я лётчиком хочу стать!), то характер у Явы был реактивный — тысячи километров в час. Прежде всего не выдерживали таких скоростей и перегрузок штанины. Они обтрёпывались внизу, превращаясь в бахрому. Ява сокрушённо вздыхал и подстригал бахрому ножницами. Этим парикмахерским делом ему приходилось заниматься всё чаще и чаще, штаны с каждым разом становились короче. К тому же Ява всё время на что-нибудь напарывался, оставляя на этом «что-нибудь» куски штанов, и в конце концов от Явиных штанов оставались одни шлейки.

Да, выращивание нового сорта кукурузы было для Явы делом очень нужным и полезным.

— Ты понимаешь, — убеждал он меня, — это же интересно. Может, мы настоящими мичуринцами станем. Разве плохо? Про нас вся республика узнает. В газетах вот такими буквами писать будут.

— Нет, — сказал я, — не хочу. Я хочу лётчиком. А лётчиков-мичуринцев не бывает, потому что в небе кукуруза не растёт... Пусть уж что-нибудь одно. Да я и не верю, чтобы мы что-нибудь стоящее вырастили. Это же надо и тут иметь, — я постучал себя пальцем по голове, — и работать много. Нет!

— А ты трепач.

— А ты сонная муха.

— А ты... тьфу на тебя!

— И на тебя тьфу!

Крепко мы тогда поссорились. Правда, через два дня мы помирились, но про кукурузу больше не вспоминали. Сразу после школы я поехал в гости к тетё в другое село, а когда приехал, Яву не застал — он в пионерлагерь уехал. Так мы с ним целое лето почти не виделись. И встретились, только когда начались занятия в школе. Я, конечно, совсем забыл о том разговоре, который был у нас весной. И вдруг он говорит:

— Знаешь, Павлуша, а ведь я новый сорт кукурузы всё-таки посадил.

Я рот разинул от удивления.

— Бре... — говорю. — Где? Как?

— На мамином участке. Полез я однажды на чердак, искал колёсико, то, что ты мне подарил. А у нас ты же знаешь, на чердаке всегда валяется кукурузных початков — миллионы. Искал я, искал колёсико и вдруг наткнулся на необычный початок — ну просто как поросёнок. Сроду такого не видел. И стрельнуло мне: да это же, наверное, новый сорт кукурузы сам вырослся случайно, и никто об этом не знает. Должно быть, мамка его среди других початков не заметила, не обратила внимания. Вот это дело! Счастье само в руки лезет... Вышелушил я зёрна. Ох и зёрна! Если бы я тебе одним зёрнышком по лбу саданул — вот такую шишку бы набил... Пошёл я тайком на мамин участок, самое хорошее место выбрал, повыковыривал то, что было посажено, и целый ряд своим сортом засадил.

— Ну и что? — спрашиваю с нетерпением. — Вырос твой сорт?

— Да, наверное. Я не знаю. Я же в лагерь поехал. Давай вдвоём пойдём сегодня, посмотрим. Давай?

— Давай, — говорю, — раз такое дело, надо идти. Тем более, через неделю-полторы кукурузу убирать будут. Соберёт комбайн твой сорт —

дудки ты его тогда найдёшь.

Разговор этот происходил на большой перемене. А когда уроки кончились, Ява сказал:

— Пошли.

— Так, может, — говорю, — сначала пообедаем?

— Да чего там обедать, не умрёшь. Мы быстро. Посмотрим только, и назад. И будешь себе хоть до вечера обедать.

Я вижу, что так ему невтерпёж, и согласился. Может, и в самом деле он новый сорт открыл!

Пошли мы.

Вышли за село, на полевую дорогу.

На небе — ни облачка. Солнце светит, нежаркое, ласковое сентябрьское солнце.

По обе стороны сплошной зелёной стеной, словно лес, стоит кукуруза, высоченная, метра три, а то и больше. Хорошо в этом году уродилась.

Идём мы и идём. Уже и села не видно.

— Долго ещё? — спрашиваю.

— Да нет. Ещё малость, и всё.

После этого мы ещё добрых километра два отмахали. Наконец Ява говорит:

— Вот тут. Видишь, табличка?

Действительно, у дороги торчит на колышке фанерная табличка, а на табличке кривыми буквами написано:

Кукуруза Сорт Буковинский № 1
участок
Надежды Рень
Площадь 8,5 га.

— Точно, — говорю, — это оно.

— Пошли, — говорит Ява, — теперь вглубь нужно.

Свернули мы с дороги и — в кукурузу. Ява впереди, я за ним.

И сразу будто в джунгли попали. Ох и густая кукуруза! Руками всё время приходится листья раздвигать, чтобы по носу не ударили. А тут ещё и портфель мешает — цепляется. Яву я сразу из виду потерял. Только по шороху слышу, куда идти.

Через некоторое время спрашиваю:

— Ну как? Скоро уже твой сорт?

— Скоро-скоро, — слышу далеко впереди бодрый Явин голос. Вот

реактивщик!

— Погоди, не спеши так, — кричу, — а то я не вижу, куда идти!

У меня уже дважды портфель из рук выпадал, и щёку я поцарапал о жёсткие кукурузные листья.

Наконец снова спрашиваю:

— Ну как? Нашёл?

— Нет ещё. Густо очень. — И в голосе слышу, нет уже той бодрости.

— Слушай, — говорю, — ты становись на четвереньки и ползи. Потому что так никогда тех кольшков не увидишь.

Сказал и сам стал на четвереньки, портфель в зубы, чтоб не мешал, и пополз, как собака в цирке.



Ползу и молчу — с портфелем в зубах много не наговоришь. Во все стороны гляжу, колышки ищу. С разгона прямо носом в Явины штаны ткнулся. Смотрю — он тоже с портфелем в зубах. Сели мы, портфели изортов повыпускали, дух еле-еле переводим.

— Ну что? — спрашиваю.

— Да знаешь, — говорит растерянно, — очень трудно в этих зарослях искать. Где-то тут должно быть, а не могу найти.

— Знаешь — говорю, — давай действовать планомерно. Прочешем этот участок по всем правилам. Ты в одну сторону ползи, я в другую, а потом сойдёмся. Кукуруза ведь квадратно-гнездовым посажена, по квадратам и будем прочёсывать. Это очень просто.

Ява повеселел:

— Правильно. Я давно говорил, что ты гений, Павлуша. Только давай портфели тут оставим, а то очень трудно их в зубах таскать.

Положили мы портфели и расползлись — я в одну сторону, Ява в другую.

Ползу и смотрю. Однако хоть и говорил я, что это очень просто, по квадратам, но, оказывается, не очень просто. Если голову у самой земли держать — то ещё немного видно эти квадраты-ряды, а если подынешь голову — никаких тебе квадратов, сплошные листья. Не будешь же всё время щекой по земле тереться.

Ползал я, ползал и прямо, и зигзагами, колени уже все ободрал — колышков нет.

— Ява-а! — кричу.

— Ау! — издали отзывается.

— Давай, — кричу, — назад!

— Давай!

Пополз я назад. Показалось мне, что назад полз я значительно дольше, чем вперёд. Уже давно должен был бы я встретиться с Явой, а его всё не видно. И не слышно даже.

— Ява! — зову наконец.

— Ау! — слышится где-то далеко справа.

— Ява! — кричу я. — Куда ты пополз, чтоб тебе! Не туда ты ползёшь.

— Это ты, — кричит он, — это ты не туда ползёшь! Я ползу правильно.

— Да ну тебя! Ползи сюда.

— Это ты сюда ползи!

Вот так, перекликаясь, мы начали подползать друг к другу. Долго подползали. Наконец подползли. Злые оба как черти.

— Ну, — спрашиваю, — нашёл?

— «Нашёл, нашёл!»! — передразнивает он. — Если бы я нашёл, разве я полз бы к тебе? Я бы тебя звал, нуда несчастная!

— Ну, — говорю, — хватит. Мне твоё мичуринство надоело. Я пошёл

домой. Я есть хочу. Где мой портфель?

— Там, где ты его положил.

Лёг я на землю, стал осматриваться. Пыли наглotalся, а портфеля не вижу.

— Это ты, — говорю, — ты виноват. Пополз куда-то. Из-за тебя мы портфели потеряли. Попробуй их теперь найти в таких джунглях.

— Это не я, это ты, как тот слепой щенок, пополз по-дурацки и всё запутал.

— Ну ладно, — говорю, — ссориться потом будем, давай сначала портфели найдём.

Поползли мы искать портфели.

Теперь двигались вместе, я даже для верности держался за Явину штанину.

Через полчаса мы поняли, что найти портфели в этом дремучем кукурузном лесу не легче, чем те колышки. Колени жгло огнём. И когда мы наконец поднялись, то чуть не упали — ноги онемели и подгибались, не хотели нас держать.

— Ява, — сказал я, — давай плюнем на портфели и пойдём домой. Пообедаем, а тогда придём за портфелями. А то я так есть хочу, что даже голова не работает. Какое-то гууу-гууу в голове, и больше ничего.

— Давай, — сразу согласился Ява, — а то у меня тоже живот к хребту прилип. Это, наверное, потому мы и найти не можем, что голодные. А вот пообедаем, так сразу и портфели найдём, и колышки тоже. Пошли.

И Ява бодро рванулся вперёд. Я за ним. Несмотря на боль в коленях, мы шли очень быстро, почти бежали. Кукурузные листья били нас по щекам, лезли в глаза, царапали руки. Но мы не обращали внимания. Мы хотели есть.

Идти становилось всё труднее.

— Ява, — сказал я, тяжело дыша, — что-то мы очень долго идём.

Ява молчал.

— Ява, — сказал я, дыша ещё тяжелее, — где дорога?

Ява молчал.

— Ява, — крикнул я, почти задыхаясь, — мы не туда идём!

Ява остановился:

— А куда? Ты знаешь куда?

— Нет, — говорю я, едва держась на ногах, — это ты меня сюда завёл, ты и выводи!

Ява бессильно опустился на землю.

— Я бы вывел, — сказал он, переводя дух, и лёг навзничь. — Я бы

вывел, если бы ты не запутал меня. А теперь я не знаю.

— Что ты не знаешь? Что ты не знаешь, диверсант?

— Не знаю, куда идти. Вот что. Тебе же известно, какие это кукурузные массивы, на сколько они километров тянутся. Если не туда пойти, можно два дня идти и не выйдешь. Совсем заблудиться можно.

— Что-о! Что ты мелешь? Кукуруза — не лес и не плавни, в кукурузе нельзя заблудиться. Вставай и выводи меня сейчас же! Я есть хочу. Слышишь? Я хочу есть!

— Так и выходи сам, раз считаешь, что нельзя заблудиться.

— Что — сам? Что — сам? Это же твоя мать кукурузовод. А моя мать доярка. Из коровника я с закрытыми глазами выведу.

— Дай отдохнуть немного. Распустил нюни. А ещё лётчиком хочешь быть! Какой ты лётчик! Слюнтяй ты! Мамалыга ты недоваренная. Знал бы твой тёзка, космонавт Попович, что у него такой земляк... Э! Только имя хорошее портишь.

Наверное, мы бы подрались, если бы не такая усталость и не такое отчаянное положение. Мы не имели права тратить силы и энергию на междоусобную войну.

Вздохнув, я лёг рядом с Явой.

И вдруг у меня возникла идея.

— Ява, — говорю, — а что, если влезть и посмотреть, куда идти!

— Влезть? Что это тебе — дерево? Это же кукуруза. Злак. Не слышал я, чтоб люди на злаки лазили.

— Ну так что, — говорю. — Видишь, какое толстое. Как бамбук! Может, и выдержит.

— Ну так лезь.

— Нет, ты лезь. Ты легче — у тебя штаны короче и пуговиц меньше. А я подсажу.

Ява вначале не хотел. Наверное, ему досадно было, что это не он придумал. Он привык, что все идеи принадлежат ему. Потом махнул рукой:

— Ну, давай попробуем.

Мы выбрали наиболее высокую и толстую кукурузину, я прислонился к ней спиной, сплёл пальцы рук, чтоб держать Яву, когда он на них ногой станет, и сказал:

— Ты больше на меня опирайся, а за кукурузу только держись.

— Ладно-ладно, — сказал Ява и, кряхтя, стал вскарабкиваться на меня. Вот уже коленом на плечо стал, опёрся руками о голову...

Ой! Ботинком по носу зацепил. Но я пока что молчу, терплю... Ботинок вдавливается мне в плечо, каблуком ключицу мне проламывает. Я

начинаю шататься, колени дрожат, подгибаются, подгибаются...

— Ява, — кричу, — скорее смотри, я падаю!

И... что-то затрещало, зашумело, завизжало — словно бомба в кукурузу ударила.

Я лежу, зарывшись носом в землю. Во рту песок, в ушах песок. Отфыркиваюсь, отплёвываюсь, протираю глаза и кричу:

— Ява, где ты? Ты живой?

— Жи... апчхи... вой. — И из кучи поломанной кукурузы высовывается Явина голова.

— Ну что, — спрашиваю, — видел?

— Дулю, — говорит, — я видел. Сплошные метёлки перед носом

Ява вздохнул.

Я посмотрел на небо.

«Смехота, — подумал я. — Космонавты летают в бескрайнем небе, среди звёзд, за сотни километров от земли, и ничего. А мы в кукурузе пропадаем».

— Ява! — подхватился я. — Это ерунда какая-то. Этого не может быть, потому что это невозможно. Ещё никто в мире не плутал в кукурузе. Мы просто пошли, не в ту сторону. Я хорошо помню, что, когда мы шли, солнце было нам в спину. Пошли назад.

Сперва Ява недоверчиво смотрел на меня. Но я говорил, наверное, так убеждённо, что он поднялся.

— Кто его знает, может, и правда. Пошли.

И мы поплелись назад.

Ох, как тяжело было идти! Батюшки, как тяжело было идти! Мы не чувствовали ног под собою. Мы просто механически переставляли их, как ходули. И зачем это мы ползали на коленях!

Трудно было сказать, сколько мы шли: полчаса, час или два, — и сколько мы прошли: километр, два или десять. Но я, наконец, не выдержал.

— Ява, — говорю, — я больше не могу! Я сейчас упаду. Давай отдохнём.

Мы снова легли на землю.

Долго мы лежали.

Было тихо. Только жёсткие кукурузные листья шуршали над нами.

Где-то далеко прокричал перепел, и опять стало тихо. Даже кузнечиков не слышно.

— А что, если мы совсем не выберемся отсюда? — тихо сказал Ява. — И никто же не знает, куда мы пошли. И нас не найдут. И мы погибнем. И через две недели комбайн вместе с кукурузой соберёт наши косточки.

— Надо было, — говорю, — хоть пообедать. Всё-таки дольше бы продержались. А так к утру и поумираем.

При воспоминании об обеде мне так захотелось есть, что я чуть не заплакал.

— У нас сегодня на обед борщ и вареники с мясом, — грустно сказал Ява.

— А у нас суп с галушками и жареная курица, — сказал я, еле сдерживая слёзы.

Нет, больше терпеть я не мог.

— Ява, — говорю, — давай людей звать. Давай людей звать, Ява.

Но Ява был более мужественным, чем я.

— Ты что, — говорит, — чтоб смеялись! Здоровые ребята среди бела дня в колхозной кукурузе караул кричат.

— Пускай, — говорю, — лишь бы было кому смеяться.

— Нет, — говорит Ява, — если уж так, давай лучше петь.

— Ну что ж, — говорю, — давай петь.

И мы затянули первое, что в голову пришло. И первой почему-то пришла нам в голову песня космонавтов.

— «На пыльных тропинках далёких планет...» — жалобно-жалобно выводил Ява.

— «...останутся наши следы», — ещё жалобнее подтягивал я.

Долго мы пели. Все песни, которые знали, почти все пропели. Особенно почему-то хорошо пелись те, которые начинались на «ой». «Ой, в поле могила», «Ой, я несчастный», «Ой, не свети, мисяченьку», «Ой, не шуми, луже», «Ой, одна я, одна», «Ой, в поле жито»...

Это «ой» мы рывкали так, будто нас кто-то в бок пинал.

Хорошо пошла у нас также песня «Раскинулось море широко». Особенно получался куплет «Напрасно старушка ждёт сына домой». Трижды пели мы эту песню, и трижды, когда доходило до этого «напрасно», у меня начинало щемить в горле. Наконец мы совсем охрипли и прекратили пение.

Мы лежали, обессиленные от голода, от песен, от безнадёжных мыслей.

Я почему-то засунул руку в карман и вдруг нащупал там что-то твёрдое. Вытянул и даже ахнул: да это же конфета, которую я ещё вчера забыл съесть! Да к тому же мятная! Это же и пить меньше хотеться будет.

— Ява, — хриплю, — смотри!

Ява глянул и вздохнул:

— Одна?

— Одна.

Конфета слежалась в кармане, растаяла, обёртка прилипла так, что и зубами не отдерёшь. В хорошие времена я бы её, наверное, просто выбросил. Но теперь это была такая ценность, что ой-ей-ей!

Я осторожно раскусил конфету пополам. Но неудачно: одна половинка вышла больше, вторая — меньше. А ещё кусать — только раскрошишь.

Я вздохнул и протянул Яве большую.

— Чего это? Давай мне ту.

— Нет, — говорю, — бери. Ты больше есть хочешь.

— Почему?

— Потому что, — говорю, — я хорошо позавтракал: яичницу ел, и колбасу, и молоко пил.

— А я! Я картошки целую тарелку, и мяса, и салат из огурцов и помидоров. Значит, ты голоднее, а не я. Бери.

— Нет. Я ещё съел пирог с яблоками вот такой и варенья блюдце. Бери ты.

— А я два пирога, и целый кувшин молока, и стакан сметаны, и творога полтарелки, и...

— А я ещё блинчики, и груши-гнилушки, и...

Наши завтраки всё увеличивались и увеличивались. Состязание в благородстве кончилось тем, что Ява с большей половины очень ловко откусил маленький кусочек, и таким образом порции сравнялись.

Мы старались сосать конфету как можно дольше, но через несколько минут во рту даже вкуса не осталось. Есть захотелось ещё сильнее. И есть и пить. Особенно пить.

Вскоре о голоде мы даже забыли. Пить, только пить! Лишь теперь почувствовали мы себя по-настоящему несчастными. Еле шевелили мы пересохшими губами. Солнце начинало садиться, приближался вечер.

Впереди была ночь. Доживём ли мы до утра?

— Прости меня, Павлуша, если что не так было, — неожиданно очень тихим и проникновенным голосом сказал Ява.

И я понял, что это он прощается со мной.

— И ты прости, дорогой Ява, — сдавленно прохрипел я.

Всё расплылось у меня перед глазами от щемящей мысли о том, как глупо гибнут наши молодые, цветущие жизни. Мы отвернулись друг от друга и зашмыгали носами, роняя на пыльную землю горячие слёзы в ожидании последнего часа. У меня занемела левая нога (должно быть, оттого, что я неудобно лежал). «О, уже одна нога отнимается! Значит, уже скоро!» — подумал я и ещё отчаяннее зашмыгал носом.

И вдруг с неба, где-то близко, кто-то громко сказал:
«Говорит Киев. Восемнадцать часов. Передаём последние известия».
Нас словно кто-то подбросил.

— Ява, — кричу, — это же радио в селе говорит! Мы спасены!

А он:

— Павлуша, побежали, пока говорит! А то замолчит, опять заблудимся.

И мы рванули. Ох и рванули! В ушах зашумело.

Но не успели мы пробежать и нескольких шагов, как Ява обо что-то споткнулся и шлёпнулся на землю. Я с разгона — на него.

Опомнились, сели, смотрим — а это наши портфели. Ну как в сказке прямо. Мы засмеялись глупым счастливым смехом.

Когда мы были уже в селе, Ява задумчиво сказал:

— Да, радио всё-таки вещь!...

— И кукуруза — тоже сила. Особенно колхозная. В единоличной дудки мы заблудились бы.

Глава VII

Ищем остров

Теперь вы понимаете, что Ява был настоящим Робинзоном Кукурузо. Самой судьбой предназначено ему было носить это имя.

— Ты что же, прямо сегодня хочешь бежать на остров? — спросил я.

— Ишь какой ты шустрый! «Сегодня»! — недовольно сказал Кукурузо. — Надо же сначала найти, выбрать подходящий необитаемый остров, подготовиться, а тогда уже бежать.

— А что там выбирать? Высадился на какой угодно и живи.

— Тебе — конечно! А мне двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней жить. Думаешь, легко?

— Да я разве что — можно и выбрать. Хоть сейчас. Поехали?

— Немного погодя. Через часок. Когда дед в сельмаг пойдёт.

— А что ты дома скажешь перед тем, как удрать? Они же волноваться будут. Всё село на ноги поставят. Поиски начнут. И милиционер товарищ Валигура, и всё. Я себе представляю!

— Конечно же, я не скажу: «Дорогие родичи, я удираю от вас на необитаемый остров. Будьте здоровы. Пишите письма». Это же комедия. Никто же так на необитаемый остров не удирает. Матери и отцу вообще ничего не придётся говорить. Мать завтра в Киев на совещание передовиков едет. Неделю пробудет, не меньше. Отец на курсах в районе. Один дед будет дома. А деду я что-нибудь придумаю. Скажу, например, что к тётке Ганне в Пески пойду. Там же и Иришка сейчас гостит. Что-нибудь выдумаю. Чтобы панику заранее не поднимал.

— А потом что? Когда мать приедет и когда узнают, что ты пропал?

— А мне что — пусть ищут. Лишь бы не нашли. Гуньку тоже ведь помнишь, три дня искали, а потом перестали. И ничего. Теперь редко кто и вспоминает. Так и меня... — И тут голос у Кукурузо задрожал. Наверное, мысль о том, что его забудут, была всё-таки горька ему. И он поспешил перевести разговор на другое:

— Главное, остров хороший найти надо. Чтоб и место рыбное было, и дичь чтобы...

— А ты и ружьё брать будешь?

— А как же. У Робинзона было даже несколько ружей. Но ничего, я и с одной своей берданкой не пропаду. Ты же знаешь мою берданку? Бьёт как

сумасшедшая. Лучше дедового зауэра.

Это, положим, Кукурузо преувеличивал. Да я не стал спорить: хлопец на двадцать восемь лет на необитаемый остров удирает, пусть потешится. В прошлом году дед подарил ему на день рождения берданку и начал брать с собой на охоту — приучать. Кукурузо очень гордился и своей одностволкой, и тем, что ходил на настоящую, взрослую охоту. Я завидовал ему и тоже мечтал о ружье, но у меня его не было.

В сениях послышался кашель, скрипнула дверь, и во двор вышел дед Варава. Метнул на нас сердитый взгляд и сказал:

— Я в сельмаг на минутку. Смотрите мне, не безобразничайте тут!

— Да мы ничего. Вот только на речку, может, сходим выкупаемся. Жара ведь такая, — просительным тоном сказал Кукурузо.

— Уроки, уроки учить надо, а не купаться. Двоечник! — буркнул дед и, кряхтя, переступил через перелаз.

Я с сомнением взглянул на Кукурузо.

— Ничего, пойдём, — тихо сказал он. — Я знаю эту «минуточку». Встретятся возле сельмага с дедом Саливоном и часа три проговорят, не меньше. Помоги мне дорезать свёклу, чтоб быстрее и пойдём.

Вдвоём мы быстро дорезали свёклу, задали свинье корм и пошли.

Хотя ничего странного и не было в том, что мы едем на лодке в плавни (сколько раз ездили и рыбу ловить и просто кататься — ни у кого никакого подозрения не могло возникнуть), но мы пробирались к речке тайком, всё время оглядываясь. И ни одной хорошей лодкой не воспользовались. Хотя все они были привязаны у берега и нам не возбранялось брать их — тут и моего отца лодка была, у деда Варавы целых три (челнок-«довбанка» и две плоскодонки). Мы разделись и переплыли на другую сторону, на песчаный островок, где за большим кустом краснотала лежала изношенная, как старая туфля, ничья плоскодонка, из которой мы думали сделать, но так и не сделали подводную лодку. Впрочем, перед самым экзаменом, как вы помните, мы её зашпаклевали, просмолили, и она хоть и пропускала воду, но не тонула: если не забывать вычерпывать, плыть можно. Тут же, под лодкой, лежало длинное потрескавшееся весло, которое мы ещё тогда «одолжили» у деда Варавы. Он и не заметил — у него в сарае вёсел с десяток валяется: и короткие — для челнока, и длинные — для плоскодонок. У нас знаете как на плоскодонках ездят? Стоя. Стоишь на корме (или же на носу) и то с одной стороны, то с другой подгребаешь. Потому и весло длинное. Так грести — уметь надо! Если не умеешь, можешь — кувырк! — и корми раков. Ну, мы с Кукурузо с малолетства умели, нам не страшно.

— Черпак не забудь, а то ртом хлебать придётся. Видишь, течёт всё-таки, калоша старая, — сказал Ява.

Оттолкнулись мы и поехали.

Обогнули островок — и уже в камышах. По узенькой полоске плывём. Гребёт Кукурузо — хоть и я хорошо умею, — но он большой мастак. Гребёт тихо, осторожно — глядит в оба. Стружка извилистая, всё время заворачивает. Гребёшь сильнее, чем нужно — раз! — и лодка уже носом в камыши залезла. Отталкивайся тогда назад, вытаскивай нос — морока!... Хорошо гребёт Кукурузо — ни разу в камыши не врезался.

Я лежу на носу, смотрю в воду. Вода прозрачная-прозрачная, до самого дна видно: водоросли, корневища лилий, коряги. И даже видно, как среди водорослей рыбы шныряют. Интересно!

Всё дальше и дальше углубляемся мы в плавни. Неожиданно за поворотом открылся широкий плёс. Гладь — ни морщинки. Белые и жёлтые лилии разбросаны, как на картинках, что на нашем базаре продаются. Только вместо лебедей посреди плёса два нырка плавают. Увидели нас — и нету. Так быстро нырнули — вроде и вовсе не было. Потом глядь — метров за двадцать появились, будто другие...

Снова мы в стружку заехали.

Ш-ш-ш! С-с-с! Ш-ш-ш! — утки пролетели.

Охотничий сезон не открылся, и, ещё непуганые, утки смело летают над нами.

— Вот бы ружьё! — говорит Кукурузо.

— Да-а, — тяну я.

Правду говорят — охотничий рай тут, в плавнях. Представляю, сколько охотников приедет на открытие сезона. И те, конечно, приедут, киевские, что всегда приезжают. Вот тот долговязый, в очках, — Олег, который собственную «Волгу» имеет. И коренастый Сидоренко. И скуластый, с редкими волосами Задвижка (настоящая фамилия такая). И совсем без волос, лысый, толстый Батюк. Все они кандидаты в какие-то науки. Что такое «кандидат», мы отлично знаем. Ведь Явина мать была кандидатом в депутаты сельского Совета. И ее биография с фотографией висела на стене нашей школы. Но это продолжалось недолго. Прошли выборы и она стала депутатом. Эти же третий год приезжали, и всё кандидаты.

— Что-то долго их не выбирают, — сказал однажды Ява. — Наверное, не очень способные к наукам. Как мы с тобой.

— Наверное, — сказал я.

Как бы там ни было, но и на сей раз киевские кандидаты, должно быть, приедут и снова, наверное, остановятся у деда Варавы. Они знают, у

кого останавливаться. И с вечера по старой охотничьей традиции будут пить водку, и рассказывать разные охотничьи истории, и петь песни, и подтрунивать друг над другом. А на рассвете дед разбудит их, и они, поспешно собирая свои охотничьи доспехи, будут морщиться от головной боли, дрожать мелкой дрожью от утренней прохлады и стонать. А Батюк, как всегда, вообще не захочет вставать. Накрыв лицо шляпой, он будет хрипло бормотать сонным голосом:

— Ложитесь! Чего вы вскочили! Ночь на дворе. Не успели улечься — и уже... хр-р-у, — и сразу перейдёт на храп.

Они будут долго расталкивать его, он будет лягаться, говорить: «Идите, я вас догоню», — наконец ругнётся нехорошим словом и встанет. И отправятся они в плавни. Дед на челноке, они на плоскодонках. Дед только и делает, что стоит и ждёт их. Потому что они не едут, а зигзагами дёргаются по воде: с левого борта гребнут, лодка вправо плывёт, с правого гребнут — влево плывёт и так всё время. А челнок деда как по струнке идёт. Ох и челнок у деда Варавы! Лёгкий как пёрышко, летит по воде, как птица, как те новые корабли на подводных крыльях. Однако усидеть на нём, кроме деда, мало кто мог. Очень неустойчивый, вёрткий челнок. Плывёшь на нём, вроде по канату идёшь, — всё время балансировать надо.

В позапрошлом году на открытие охоты охотников к нам понаехало тьма. Лодки сразу все разобрали.

А киевляне опоздали — ночью приехали. Не досталось им лодок. Один челнок дедов остался. Что делать?

— Вдвоём на этом челноке ехать и думать нечего — потонет, — сказал дед. — А то можно было бы развести на места.

— Так по одному же можно переехать, — говорит Задвижка.

— Совершенно верно, — спокойно замечает дед. — А оттуда кто лодку будет перегонять?

— М-да, — глубокомысленно промычал Задвижка.

— А если пацанов использовать! — сказал Олег (мы как раз тут же стояли).

— Ещё утопите мне пацанов, — сердито буркнул дед.

— Да нет! Чего там! — вырвалось у меня. — Мы же лёгкие. По очереди будем перевозить. А если и перевернёмся, так вы же знаете, как мы плаваем! Как рыбы!

— Ну что ж, попробуйте, — согласился дед. — Только разденьтесь, хлопцы. Потому что придётся, наверное, искупаться.

Поскольку я первым выскочил, то и перевозил первым я. Перевозил Олега. Ну, перевозил, видимо, не то слово, потому что перевернулись мы у

самого берега, даже не успели отъехать. Только он сел, только начал устраиваться, как мы уже и перевернулись. И хотя у берега было совсем мелко, Олег умудрился окунуться в воду с головой.

— Проклятая довбанка! Душегубка, а не чёлн! — ругался он, вылезая на берег.

Товарищи смеялись, а Сидоренко сказал (он говорил, широко растягивая губы, а вместе с ними и слова):

— Вот верт-ля-вое! Усидеть не мо-же-ет! Словно у него иго-олки в одном месте! Сейчас я поеду, раз ты такое ни бе ни ме.

И полез в челнок.

— Вы штанами, штанами прямо на дно садитесь, — советовал дед. Но на дне челнока была вода, и Сидоренко не хотел мочить штанов.

— Это, чего доброго, радикулит заработаешь, — сказал он, положил поперёк бортов досточку и сел на неё.

Дед держал челнок, пока мы усаживались, а потом оттолкнул нас от берега. Я осторожно начал грести, и мы поехали. Сидоренко сидел прямо, как первый ученик за партой. На коленях обеими руками он держал ружьё, балансируя им, словно канатоходец в цирке.

«Хорошо сидит, доедем», — подумал я. Мы уже были как раз на середине реки. И тут над нами низко-низко с шумом пролетели три крыжня. Сидоренко вдруг дёрнулся, вскинул ружьё (охотник он был очень азартный), но выстрелить не успел — мы потеряли равновесие. Челнок стал клониться-клониться набок.

— Дядечка! — кричу. — Внимание, переворачиваемся!

Он только рукой по воде — ляп, ляп, ляп.

Да разве рукой за воду удержишься! Бултых!



Последнее, что я видел, — это то, как новенькие резиновые сапоги с длинными голенищами мелькнули в воздухе и вода сомкнулась над ними. Я сразу вынырнул и схватился за перевернутый челнок.

Через какую-то секунду из воды показалась голова Сидоренко, лица не видно: мокрые волосы до подбородка всё залепили.

— Ружьё! — булькнул он и снова исчез под водой: как поплавок, когда клюнет рыба.

Потом снова вынырнул, снова:

— Ружьё!

И снова под воду.

— Что там у вас? — весело закричали с берега.

— Дядько, ружьё, кажется, утопили! — закричал я в ответ.

Тут и Сидоренко уже окончательно вынырнул и, отплёвываясь, прорыдал:

— Упусти-и-и-л! Стендовое! Цены нет!

Еле мы с ним до берега добрались — я челнок и весло перед собой толкал, а он... Я уж боялся, чтоб он с горя сам не утонул. Плывёт и стонет:

— О господи! Такое ружьё! Такое ружьё!

На берегу дед начал успокаивать:

— Ничего, вытащим! Вот хлопцы нырнут и вытащат.

Поплыли мы с Явой. Ныряли-ныряли — ничего не вытащили. Дно вязкое, затянуло ружьё в ил — разве найдёшь.

Пока мы ныряли, дед Варава успокаивал Сидоренко, а когда не нашли, дед рассердился на него — будто Сидоренко не своё, а его ружьё утопил:

— А чего вы дёргались? Чего дёргались? Надо было сидеть

спокойненько! Ехать, раз везут! Так нет же — крыжей ему захотелось. Первому. Ещё никто не стрелял, а он уже, видишь, дёргается. Такую дорогую вещь утопить! Разве вам можно ружьё доверить! Из пугача вам стрелять, а не из ружья.

Сидоренко виновато молчал, и не оправдывался, и не обижался, что дед его (кандидата в науки) отчитывал, как школьника. Дед часто на охоте под горячую руку и ругался, и подшучивал над ними, и они никогда не обижались. Невыгодно им было обижаться. Дед Варава знал плавни, как свой карман. Во время войны был он тут у партизан проводником — «главным лоцманом», как его тогда называли. И все охотники знали — как пойдёшь с дедом на охоту, никогда без дичи не будешь.

Конечно, и в этом году приедут киевские охотники к деду Вараве. Это факт...

— Как ты думаешь, — спросил я, глядя в воду, — если ружьё два года пролежало под водой в иле — испортилось оно? Или можно вытащить, почистить и снова стрелять?

— В иле оно может пролежать и тысячу лет, и ничего. Чтобы тогда археологи делали, если бы вещи не сохранялись под землёй, под водой и вообще. Без работы они бы сидели.

— Вот бы вытащить то ружьё, которое тогда кандидат Сидоренко утопил. То же стендовое ружьё, штучное, из него на соревнованиях чемпионы стреляли. Думаешь, зря он так горевал.

— Никакого ружья ты, конечно, не вытащишь. Потому что его уже так затянуло, что нужно речку осушать и археологические раскопки производить, чтоб найти. Может, его и найдут через триста лет. Но никто не узнает, что это при нас оно утонуло и мы ныряли — думали достать.

— И никто не узнает, что ты убежал на необитаемый остров и жил там двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней. И самого острова, может быть, тогда уже не будет.

— Остров-то будет, не волнуйся.

Мы снова выплыли на плёс, довольно большой, по которому даже ходили волны с барашками (потому что как раз поднялся ветер), как по настоящему морю. Это был уже пятый плёс, который мы проплывали. И островов мы уже проехали чуть ли не десяток. Я каждый раз спрашивал: «Может, этот?... Или этот? Хорошенький же необитаемый остров. Что тебе надо?» Но у Кукурузо было своё мнение, и все острова он браковал. По разным причинам. Тот был слишком маленький — негде разгуляться. У того берега очень заросли камышом — к воде трудно подойти. На том деревьев нет — где же дрова брать для костра. И так далее.

И вот перед нами новый остров. Словно сплошная зелёная гора: кусты краснотала, плакучие ивы и кое-где тополя покрыли его почти весь. Берега заросли камышом не целиком — есть выходы к воде. Чистоводье с трёх сторон омывает остров.

— Кажется, оно, — сказал Кукурузо. — Давай пристанем.

— Давай! — с радостью сказал я, так как мне уже надоело искать.

Мы пристали.

Остров был замечательный. Будто специально созданный для такого дела, какое задумал Кукурузо. Деревьев много и сухих веток — как раз на двадцать лет топить. В камышах, даже сейчас слышно, утки крикают. Значит, дичи полно. На плёсе у самого берега рыба играет — сама в уху просится. Посреди острова поляна: не то что в цурки-палки — в футбол играть можно. На краю поляны огромнейшая старая плакучая ива стоит, ветвями землю подметает. И без шалаша от дождя спрячешься. Но шалаш, конечно, нужен.

— Шалаш я тебе помогу сделать, — сказал я, — ты же знаешь, как я шалаша делаю.

И это правда. Лучшего, чем я, шалаша никто из хлопцев в селе не сделает. Меня этому отец научил. Он плотник, строитель. Половину хат в селе он строил.

На лице Кукурузо было написано сомнение:

— Робинзон, конечно, всё сам делал. Потому что он один попал на необитаемый остров...

— Так то Робинзон Крузо, а ты Кукурузо, — возразил я. — Нельзя же точно копировать.

Мне обязательно хотелось как можно больше помочь другу. Кукурузо не стал спорить. Я тут же вытащил из кармана большой перочинный нож с деревянной колодкой и принялся резать лозу. Я очень любил свой нож, никогда с ним не расставался, и от бесконечного ношения в кармане колодка его отполировалась так, что блестела, как лакированная.

Кукурузо покорно помогал мне, признавая в этом деле моё первенство. Он носил лозу, расчищал для шалаша место, заострял палки для каркаса — в общем, выполнял всю чёрную работу.

Через некоторое время под старой вербой уже стоял прекрасный просторный шалаш, крепкий-крепкий (никакие бури, никакие грозы не страшны) и такой уютный, что мне самому захотелось в нём жить. Я был очень доволен своей работой.

— Все двадцать восемь лет без капитального ремонта простоит — гарантия! — уверенно сказал я.

Лишь теперь мы вспомнили, что дед уже, видимо, вернулся из сельмага, и заторопились назад. Добравшись наконец до берега и запрятав лодку, мы до самой хаты бежали бегом.

А когда, запыхавшись, прибежали — оказалось, что дед ещё не приходил. Кукурузо был прав: «минуточка» деда Варавы имела свойство растягиваться до нескольких часов.

— Ну что! Раз деда нет, можно сейчас собрать всё необходимое, — сказал Кукурузо. — Сегодня всё приготовим, перетащим в лодку, а завтра...

— Значит, решил уже завтра? — спросил я.

— А чего тянуть. Через несколько дней приедет мать — будет сложнее.

Кукурузо ходил по хате, задумчиво взявшись рукой за подбородок, и примерялся, что брать с собой.

— Прежде всего ложку. — Он вытащил из буфета деревянную выщербленную ложку и сунул её за пояс. — Соли обязательно, без соли пропаду, — отсыпал себе в тряпочку полпачки соли. — Хлеба! — грустно посмотрел на чёрствую горбушку, что лежала на столе. — Мало...

Дед пошёл в сельмаг как раз за хлебом.

— Я тебе принесу. И хлеба и сухарей. У нас есть, — успокоил я его.

— Чаю? — Он покрутил в руках пачку с чаем. — Обойдётся. Тогда и чайник брать нужно. А у нас один...

— Фонарик не забудь. Пригодится, — напомнил я.

— Фонарик обязательно. Без фонарика нельзя.

Он прошёлся по хате, взял в руки топор, который стоял в углу у порога:

— Топор. Надо было бы хоть два. У Робинзона было целых двенадцать топоров.

— Он что — жонглировал ими, что ли? — удивился я. — Зачем ему было столько? Станный какой-то твой Робинзон.

— Ты очень умный, — обиделся за своего вдохновителя Кукурузо. — Молчи лучше! Ты никогда на необитаемом острове не жил.

В это время дверь растворилась, и на пороге появился дед. Кукурузо так и замер с топором в руках.

— Ов-ва! — спокойно сказал дед. — Мебель рубить вздумал? А ну поставь топор на место.

— Да я ничего, — замямлил Кукурузо. — Я... я... я хотел показать ему, какой у нас топор добрый. А он говорит, что у них лучше... Правда же у нас лучше, диду?

Дед ничего не ответил, и мы вышмыгнули из хаты.

— Фу! Чуть не засыпались! — уже за овином выдохнул Кукурузо. — И

как это мы шагов не слышали!

Это было действительно страшно. Это значит, мы очень увлеклись. Потому что шаги деда слышны издалека. Дед ходит как на лыжах — не отрывая ног от земли: шарк-шарк, шарк-шарк!... Кажется, еле ноги переставляет, вот-вот упадёт. Но видели бы вы его на охоте. По чернотропу на зайца дед может прошаркать так километров пятьдесят — и хоть бы что.

Сидим мы с Кукурузо за овином и размышляем, как лучше перетащить всё необходимое в лодку. Наконец договорились. Кукурузо помаленьку будет выносить из хаты и прятать в бурьяне за овином. А как стемнеет, я (чтоб Кукурузо был у деда на глазах и не вызывал подозрений) тайком перенесу всё в лодку. А завтра...

Глава VIII

Робинзон Кукурузо высаживается на необитаемый остров

Утро следующего дня. Солнечное, звонкое и голосистое: петухи поют, гуси гогочут, коровы мычат, тётки у колодцев вёдрами гремят...

Я скорчился у плетня и смотрю в щёлку, что делается во дворе у моего друга.

Подготовительные работы успешно завершены. Всё добро Робинзона уже в лодке: и берданка, и удочки, и фонарик, и ложка, и коньки (на зиму), и топор (к сожалению, один, да и то без топорища — ну это ничего, на острове можно будет выстрогать), и много чего другого. Червяков накопано — полная жестянка из-под бычков в томате (я слово «бычки» зачеркнул и написал карандашом «червяки», получилось «червяки в томате»). И харчей целая торба. И даже две таблетки пирамидона (на случай болезни). Итак, всё в порядке.

Теперь осталось одно — отпроситься у деда.

Дед сидит на колоде и выстругивает ручку для вил. Кукурузо ходит вокруг него и канючит:

— Диду!

— Га?

— Так я к тётке Ганне пойду в Пески.

— Отцепись.

— Диду?!

— Га?

— Так я пойду.

— Отцепись, тебе говорят. Иди уроки учи.

Помолчали немного. Потом опять:

— Диду!

— Га?

— Мне с вами скучно.

— Так что, мне на голову стать, чтобы тебя, развеселить?

— Я к тётке Ганне пойду. Там же Иришка. Я её столько не видел...

— Когда она дома, так только ругаешься с ней, а тут, видишь, соскучился...

— Я вам и самосада принесу. Вы же знаете, какой у тётки Ганны

самосад.

— У меня свой есть не хуже. Отцепись.

Опять помолчали.

— Диду!

— Га?

— Так я пойду. Да?

— Ну что пристал? А уроки?

— Так я возьму книжку и там учить буду. Вот спросите тогда у тётки Ганны.

Я притаился и думаю: «Ох и трудно же в наше время удирать на необитаемый остров!»

Долго канючит Кукурузо. Наконец терпение у деда лопается, и он говорит:

— Вот чертёнок, а не дитя! Совсем замучил. Ну иди уже, чтоб я тебя не видел! Только на три дня, не больше. И если тётка Ганна скажет, что ты уроков не учил, — вот этой палки попробуешь. Двоечник!

Кукурузо не стал мешкать, бегом побежал в хату (а то ещё передумает дед), схватил грамматику — и за ворота. Потом вдруг остановился, обернулся, потоптался на месте, вздохнул:

— Бывайте здоровы, диду! Хороший вы... Я всегда знал, что вы хороший...

— Иди-иди! — буркнул дед. Разве он знал, что прощается с ним Кукурузо на двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней.

На улице я присоединился к своему другу. Молча дошли мы до речки, молча сели в лодку и молча поплыли в плавни.

Не проронив ни одного слова, доплыли мы до острова.

В торжественном молчании перенесли все вещи на поляну к шалашу.

И вот в последний раз стоим на берегу возле лодки. Опустив голову, ковыряем носками ботинок землю. Стоим и вздыхаем. Надо прощаться, а мы не знаем, что говорят в таких случаях. Ведь не на день мы прощаемся, не на месяц, не на год даже, а на целых двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней. Ещё никто в мире не прощался на так долго.

— Ну что ждёшь? Отчаливай! — не выдерживает наконец Кукурузо.

— А ты что, спешишь? — говорю я.

— Да нет, я ничего, но вообще... Тебе ж домой нужно. Ребята, наверное, в футбол сейчас на выгоне играют.

— Та! — машу я рукой. Дескать, не нужен мне ни футбол, ни хлопцы. А сам думаю: «Неужели это Кукурузо никогда в футбол больше играть не будет? Вот бедный хлопец!» И так мне его жаль стало! Какой же он вратарь

замечательный был! Настоящий Лев Яшин мог из него вырасти.

Вздыхнул я, полез в карман и вытащил свой перочинный нож.

— На, — говорю, — тебе пригодится. Ты же знаешь, какой это нож. Как бритва. Такого ни у кого нет... А у тебя обломок какой-то.

Кукурузо даже покраснел от удовольствия. Он давно с завистью смотрел на этот ножик и не раз предлагал меняться, да я не хотел. Но теперь пусть у него остаётся, раз он в футбол больше никогда не сыграет и в одиночестве жить будет.

Я ещё раз вздохнул, полез в другой карман и вынул спичечную коробочку. Там лежали рыболовные крючки, которые подарили мне в Киеве. Прекрасные крючки. Целое богатство для рыбака. И маленькие — для верховодок, плотвы и карасей; и побольше — для ершей, окуней и лещей; и большие — для щук, линей, карпов; и совсем большие, тройные, — для сомов и другого рыбьего зверья.

— Лови, — говорю, — на здоровье. Рыбой ты теперь обеспечен... Только, знаешь, когда я к тебе как-нибудь приеду, ты и мне дашь половить. Очень я привык к этим крючкам.

Почему я так сказал — сам не знаю. Я же ещё ни разу не ловил этими крючками. Наверное, жалко всё-таки было мне их. Даже больше, чем ножик. Кукурузо почувствовал это:

— Да зачем. Не надо. У меня же есть.

Однако не мог оторвать восторженных глаз от коробочки. Разве хватит у человека сил отказаться от такого подарка! Нет, хоть и жалко, но не жалко мне крючков.

Кукурузо же остаётся на необитаемом острове один-одинёшенек, как зуб во рту у деда Саливона. И никто его больше не увидит. Даже письмо ему написать нельзя. Ну да, нельзя. У него же нет адреса. У всех людей на свете есть адреса, а у него нет. Эта неожиданная мысль встревожила меня.

— Слушай, — говорю, — так нельзя. Выходит, у тебя теперь нет адреса. Никакого адреса.

— Ну так что?

— Как — ну так что? Адреса нет, понимаешь! Выходит, вроде ты вообще не живёшь на свете.

— А что же я могу сделать? — растерялся Кукурузо.

— Надо немедленно как-то назвать остров. Будет название, тогда и адрес будет.

— Давай. Я разве что — против? А как?

— Я знаю? Острова на земле все по-разному называются. Остров Сахалин, остров Мадагаскар, остров Таймыр. Нет, то, кажется, полуостров.

Ну, как-нибудь так.

— Ну пусть будет остров Мадагаскар. Хорошее название. Мне нравится.

— Так уже есть Мадагаскар. Надо, чтоб такое название, которого ещё нет.

Кукурузо задумался. Долго шевелил губами, видимо перебирая в уме названия. Потом сказал:

— А знаешь что — пусть будет имени Переэкзаменовки. Переэкзаменовка меня сюда привела, и пусть будет остров её имени. Такого названия ещё нет — ручаюсь.

Я не стал спорить. Так на карте мира (хоть об этом ещё никто, кроме нас, не знал) появилось новое географическое название — остров Переэкзаменовки. Кто знает, может, когда-нибудь, через много лет, школьники даже будут учить об этом на уроках: «Остров Переэкзаменовки. Знаменитый тем, что на нём провёл в одиночестве почти тридцать лет ученик пятого класса Робинзон Васильевич Кукурузо». И какой-то лентяй получит двойку за то, что не будет этого знать.

Я повеселел. И прощание показалось мне не таким грустным.

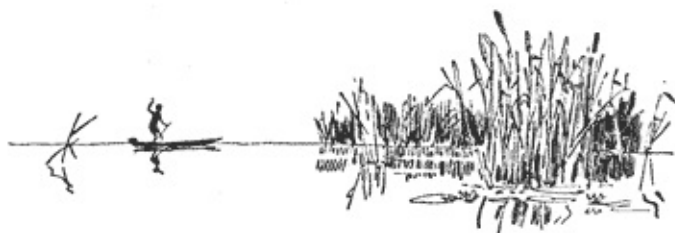
— Не трусь, Робинзон, всё будет хорошо, — бодро сказал я. — На таком острове не то что двадцать восемь — сто лет прожить можно. Лишь бы рыба клевала.

— Я тоже так думаю.

— Прощай!

— Прощай!

Я сел в лодку и оттолкнулся веслом от берега.



Последняя связь Робинзона Кукурузо с человечеством прервалась. Он остался один на необитаемом острове. Теперь, даже если бы он и захотел вернуться домой, он бы не мог сделать этого сам, без посторонней помощи. Потому что у него не было лодки. А без лодки выбраться из наших плавней невозможно — утонешь как слепой котенок. Я предлагал, чтоб он оставил себе нашу «подводную» (мы же могли воспользоваться для перевозки какой угодно лодкой), но он категорически отказался. «Это несерьёзно, — сказал он. — Это была бы какая-то прогулка: надоело — вернулся. Если бы у настоящего Робинзона был транспорт, — вряд ли бы он сидел так долго один на острове. Нет, надо по-настоящему. Никаких лодок, никакой возможности вернуться».

Героический был человек Робинзон Кукурузо!

Глава IX

Первый день на острове Перезкзаменовки. Глава, рассказанная Робинзоном Кукурузо своему другу и однокласснику Павлуше

Так вот, когда оттолкнулся ты от берега и поехал и когда исчез уже за камышом, лишь морщины на воде остались, — такая вдруг тишина наступила, никогда я такой тишины не слышал (даже тогда, когда мне уши после первого моего выстрела из берданки заложило). Стою я и не дышу, словно окаменел. Тишина-тишина... и только небо, кажется, звенит. Будто огромной голубой миской меня накрыли И я под той миской один, словно мышонок и деваться некуда.

Стою я и, что делать, не знаю. И спешить мне не нужно, и делать нечего. Хоть стой, хоть сядь, хоть через голову кувыркайся — всё равно. Никто не видит, никому до этого нет дела.

Плохо мне было. И главное, эта проклятая мысль, что сам я отсюда не выберусь. Хоть кричи, хоть бейся головой о дерево — ничего не поможет. Я б знаю, что делал, если не почувствовал вдруг, что хочу есть. Ты же помнишь, я так волновался и спешил, что дома хорошо и не позавтракал. Это сразу привело меня в чувство. Харчей я решил пока что не трогать — кто там знает, что оно дальше будет. Решил наловить рыбы. Выбрал я подходящее место, размотал удочки, наживил, закинул. Жду. Сижу, на поплавки смотрю и жду. Жду, жду, жду... Поплавки даже не шелохнутся. Не клюёт. Я уж и плевал на червяков, и менял их, и с места на место переходил — нет клёва. А голод меня всё больше разбирает. Сижу я, слюни глотаю и шепчу: «Клюйте, рыбочки! Клюйте, пожалуйста! Я же кушать хочу». А поплавки, как гвозди из доски, торчат себе просто из воды — и всё. Нет рыбы. Плавает мой завтрак под водой и никак его не достанешь.

Нервничаю я, всё время удочки дёргаю, да только червяков на крючках вытаскиваю. Хоть самих червяков ешь. Тьфу!

Сам понимаю, что время неподходящее для ужения, что клюёт или рано утром, или под вечер, но мне от этого не легче. Не ждать же до вечера — живот так подтянет, дойду совсем. Кончилось тем, что зацепил я крючком за корягу и леску оборвал. Пропал крючок — один из лучших, что ты мне подарил. Рассердился я, плюнул и пошёл к торбе — не мог больше

терпеть. Как дорвался, полторбы харчей съел. Лёг на поляне животом вверх, дремать начал и незаметно уснул... Долго, должно быть, спал, проснулся, потому что почувствовал, что печёт. Солнце жарит! — шкварчит на небе, как яичница на сковородке. Притронулся рукой к лицу — щёки огнём горят. Обжётся я на солнце. Пошёл водой умылся — печёт. Мокрой земли приложил — печёт. Вспомнил — сметаной или кислым молоком нужно. Да где же её взять — сметану! Вот тут я впервые почувствовал, что необитаемый остров — это необитаемый остров, а не наш колхоз «Светлая заря», где сметаны целые озёра. А мне бы сейчас хоть ложку, хоть пол-ложки. Ох же и печёт! Залез я в шалаш. Темно в нём, холодок. Полежал я немного, хоть и печёт, да жить нужно. Нельзя же двадцать восемь лет в шалаше пролежать. Вылез, взял топор, нож твой и пошёл вырезать топорище.

Нашёл хороший сухой сук, вырезал топорище, начал обстругивать и вдруг занозу в палец загнал. Да такую болезненную — под самый ноготь. Сразу палец в рот. Сосу — не высасывается, зубами давлю — не выдавливается. Иголкой бы! Иголкой бы сразу вынул... А где же иголка? В село за иголкой бежать надо. «Беги, чего же ты не бежишь?» — сам себя спрашиваю.

Чуть не заплакал я от бессильной злости. Такую нужно вещь, как иголка, забыл! Взял крючок рыболовный, начал ковырять. Но боюсь — ковыряю осторожно. Там же на конце крючка зазубрина: как загонишь, то, мало того что с занозой, ещё и с крючком в пальце ходить будешь. Ох и намучился я. Мокрый стал. А занозу всю не вынул — маленький кончик остался. И потом долго болело. Хорошо ещё, что не нарвало.

Солнце начало садиться, и я снова почувствовал аппетит. На торбу даже смотреть боялся — знал, что если подойду к торбе, то завтра придётся землю грызть. Рыба, только рыба могла спасти меня от голода.

Я опять закинул удочки. И на этот раз мне повезло. Ох, Павлуша, как я обрадовался, когда вытащил наконец первого пескаря! Был он маленький, с палец, но для меня он был дороже полуметровой щуки, которую мы с тобой поймали прошлым летом. Я даже поцеловал его, этого пескарика. Потом пошли окунишки, краснопёрки, карасики... Я так увлёкся, что не заметил, как перевернулась жестянка с червями. А когда увидел — они уже расползлись по всему берегу. Я даже подскочил. Ой! Без червяков и рыбы не будет. Бросился я на колени, стал ползать по берегу и собирать. Но большинство уже в землю позабиралось, попрятались. К тому же темнеть начало. Еле я четверть банки насобирал... Рыбу больше не ловил, решил червяков экономить.

Разжѐг я костѐр, почистил ту мелюзгу, что поймал, взялся уху в старой кастрюльке варить. Варю и замечаю, что очень быстро вода выкипает — всё время доливать приходится. И под дном что-то шипит. Присмотрелся я — батюшки, да это же моя кастрюлька течѐт-протекает! И как же это я раньше не заметил, что там дырки! Чуть не заплакал я от горя. Что же я теперь делать буду! В такой кастрюле только глину месить, а не уху варить. Это же решето, а не кастрюля. А другой у меня нет и взять негде. На необитаемом острове я.

Хорошо было Робинзону Крузо. Всѐ нужное выбрасывало ему на берег море после кораблекрушений. Всѐ абсолютно, даже деньги.

Захотел двенадцать топоров — на́ тебе двенадцать топоров. Захотел шѐлковые рубашки — на тебе шѐлковые рубашки... А мне хоть бы одну кастрюлечку. Хоть бы махонькую. Да где там! Дождѐшься тут в плавнях кораблекрушения! Дудки! Хоть сто лет жди! Только один раз тут было настоящее кораблекрушение. Это когда киевский охотник Сидоренко ружьѐ утопил, да какая мне польза от этого. У меня своя берданка есть. А то ещѐ когда-то дед Саливон в город на базар картошку вѐз и перевернулся. Да разве он даст добру пропасть — до полуночи бороду в воде мочил, по картофелине со дна собирал. потом неделю улиток и водоросли из бороды вычѐсывал. Нет, на кораблекрушение мне нечего и надеяться!

Похлебал я с отвращением недоваренной ухи, какая ещѐ не успела вытечь, пожевал полусырой рыбы и сижу. Уже совсем стемнело. Даже звѐзд на небе не видно — облачно. Лишь угольки в догорающем костре тлеют. В животе холодно стало, и оттуда в сердце страх пробирается — скользкий и противный. Надо что-то делать, отвлечься. Полез я в шалаш, нащупал фонарик, засветил. Нашѐл тетрадь свою по языку (ты же знаешь, я и тетради и грамматику взял, чтобы дед думал, будто я у тѐтки учить буду). Карандаш отыскал в торбе... Тебя это удивляет, правда — не уроки ли я учить собрался? Нет! Да будет тебе известно, что Робинзон Крузо на острове дневник вѐл, записывал все события, которые с ним происходили. Что же я — хуже его! Я же, как и он, на необитаемом острове. А на необитаемом острове без дневника нельзя.

Ну, подряд всѐ писать — ты же знаешь — я не могу. Я не писатель. Даже больше — я по письму переэкзаменовщик. Решил я коротенько записывать только факты — хорошие и плохие. Провѐл я в тетради посредине линию, разделил таким образом лист на две половины — левую и правую. В левой сверху написал «Приключения» (это хорошее, это для меня, ты же знаешь, вообще в жизни самое главное, ради этого я и на остров высадился, без приключений моя жизнь — не жизнь, особенно на

острове). В правой половине написал сверху «Неприятности» (что ж поделаешь, и без них не обойдёшься).

Долго я думал, долго грыз карандаш и наконец написал. Вот что у меня получилось:

приключения неприятности

1. Наловил рыбы и съел.

1. Обжёгся на солнце.
2. Загнал под ноготь занозу.
3. Потерял крючок (один из лучших).
4. Съел полторбы харчей.
5. Удрали почти все червяки.
6. Протекает кастрюля, и я не знаю, в чём уху варить (хоть в пригоршне вари).

Приключения

1. Наловил рыбы и съел.

Неприятности

1. Обжёгся на солнце.
2. Загнал под ноготь занозу.
3. Потерял крючок (один из лучших).
4. Съел полторбы харчей.
5. Удрали почти все червяки.
6. Протекает кастрюля, и я не знаю, в чём уху варить (хоть в пригоршне вари).

Как видишь, приключение одно и малюсенькое, как тот пескарик (да и то я его в приключения только по своей доброте записал). А неприятностей целых шесть, и все здоровенные, как акулы.

Всё это я писал, локтем прижимая тетрадь к колену и жикая себе над ухом фонариком, потому что костёр уже догорел, а разжигать его снова мне не хотелось (только не думай, что из-за того, что за хворостом нужно было идти в тёмные-претёмные заросли!).

Фонарик твой действительно вечный. Спасибо тебе за него. Но это жиканье... Жикаешь — есть свет. Не жикаешь — нет света. Я жикал. Полчаса после этого у меня в ушах жикало от одного воспоминания. И рука онемела, будто я локтем о край стола стукнулся. Написал я и думал, что всё, — день кончился и больше ничего не будет, никаких событий. Не знал я, что меня ждёт самое главное приключение, — даже не акула, а целый

кит.

Спать мне не хотелось — я днём выспался. Вышел я из шалаша, сел на берегу, обхватил руками колени, а мысли разные в голове копошатся — про село, про школу, про тебя (что-то ты там сейчас поддельываешь — давно спишь, должно быть)...

Молодой месяц из-за тучки вышел, как сабля казацкая, — осветил плёс тускло-серебряным светом. Невидимые утки просвистели крыльями над головой — и тихо. Ветра нет, и даже всегда шуршащие камыши молчат, не шепчутся между собой. Я смотрю на плёс и думаю.

И вдруг тень легла на плёс, длинная-длинная. Из-за камышей выплыл чёлн — без звука, без единого всплеска, как привидение. И это было самое страшное (как во сне). В чёлне во весь рост стоял кто-то высокий и длинным веслом правил. Я заморгал — не пригрезилось ли... Нет! Чёлн плыл прямо к острову. Увеличивался, увеличивался, как на экране в кино; у самого берега повернул и исчез за прибрежными кустами.

Сердце моё застучало в груди так, что даже земля подо мной задрожала. Кто это? Водяной? Леший? Нечистая сила?... Да что я! Это же только старые неграмотные бабки верят во всю эту чертовщину. А я верю в радио, в телевизор, в космические ракеты! Нет, глупости, не надо бояться!... И вдруг я вспомнил Гуньку... Того самого блажененького, ненормального Гуньку, который два года назад пропал, исчез в плавнях...

Гунька! А что, если это Гунька! Что, если он тоже, как и я, живёт в плавнях на каком-то необитаемом острове! Гунька! Он же не в себе, он же ничего не соображает. Он может увидеть меня, подумать, что я какой-то злой дух (чего бы это, спрашивается, обыкновенный, нормальный хлопец был ночью в плавнях!), и задушит. Задушит — и ничего ему не докажешь. Хоть кричи, хоть плачь, хоть умоляй... Будто черви поползли у меня по спине — мокрые, скользкие и холодные. И словно петлю кто-то затягивал на шее — сдавило горло,дохнуть трудно.

Я замер, прислушиваясь. Даже сердце, казалось, остановилось, чтобы я лучше слышал. Из-за кустов донёсся всплеск, что-то плюхнулось в воду — будто кого-то с лодки сбросили. Может, это Гунька привёз кого-то и утопил... И теперь моя очередь... Я не мог больше сидеть на месте. Сделал одеревеневшими ногами несколько шагов в темноту к шалашу. И вдруг на кого-то наткнулся... Кто-то огромный схватил меня цепкими руками за плечи. Я брыкнул ногами, дёрнулся, упал. Кто-то навалился на меня, царапнул по лицу и...

* * *

Тут рассказ Робинзона Кукурузо обрывается, потому что Павлуша в этом месте ахнул, перебил, и начался разговор, которого читатель не поймёт, пока не услышит о том, что случилось в тот день и в ту ночь с Павлушей Завгородним.

Глава X

Глава, которую рассказывает Павлуша Завгородний. О том, что он делал в тот день и в ту ночь

Оставил я, значит, Робинзона Кукурузо на острове и направился домой. Не успел я проплыть полдороги, как произошло со мной приключение. Смотрю, в лодке что-то очень много воды — почти половина. А волны же нет, и бортом я не зачерпывал. Что такое? Стал присматриваться, глядь — а в днище, как раз посередине, дырка (три пальца всунуть можно), и вода оттуда хлещет, даже булькает. Мы когда-то именно с этой дыркой больше всего и намучились, берёзовую затычку вгоняли, замазкой замазывали. И вот вылетела эта затычка и неизвестно куда делась, и вода хлещет, как из трубы, что в задачах по арифметике — «через одну трубу вливается, из другой выливается». С той только разницей, что тут только «вливается». И ответ у этой задачи один, и очень для меня неприятный. Не пройдёт и пяти минут, наберётся воды до краёв и... «На вымашку» я до села не доплыву — очень далеко. Да и стебли кувшинок тут, и водоросли такие, что вмиг ноги и руки опутают, и от меня останутся только пузыри на воде. Замёрзло у меня всё в середине, задрожало, а сверху пот выступил. «Неужели конец? — думаю. — А я же только в шестой класс перешёл. Я жить хочу. Я вырасти хочу. И лётчиком стать... И на Гребенючке жениться (если никого другого не встречу)». Нет. Ни в коем случае нельзя погибать. Надо немедленно к какому-то острову пристать, дырку заделать и воду вычерпать. Нажал я на весло, хекаю. А кругом сплошные камыши — землю не видно. А вода всё прибывает и прибывает — уже под коленями мне щекочет. Я головой во все стороны кручу — сушу, землю высматриваю. Наконец заметил островок и изо всех сил — туда. Пристал как раз вовремя, потому что от лодки моей осталось только сантиметра два над водой — такая себе рамочка из бортов плывёт, — в середине вода и снаружи вода, и уровень той воды одинаковый. А я в этой рамочке как портрет. Ещё бы немного, и никто бы моего портрета больше не увидел. Выскочил я, начал лодку тянуть — надо же воду вылить. Тяну, а она не тянется. Тяну, а она не тянется. Вот-вот у меня жилы полопаются. И глаза на лоб лезут. А лодка — будто гвоздями ко

дну прибита. Что делать? Неужели не вытяну никогда?! Что же это получается? Получается, что я тоже на необитаемом острове. Ой-ей-ей! Я не хочу! Я домой хочу. У меня же нет ничего с собой. Голый пуп под рубашкой. Даже ножика нет в кармане. Я же не готовился совсем. Это Кукурузо готовился. У него всё есть. Еды целая торба, фонарик, даже ружьё, не говоря уж об удочках и червяках. И остров он выбрал хороший. А это разве остров! Это кизяк какой-то, а не остров. И по размеру, и по качеству. Ни дерева, ни кустика. Даже суши настоящей нет. Сесть негде. Сплошная грязь вонючая. Если жить на нём, так только и можно стоять как аист, одну ногу поджав. А я не аист. Я пятиклассник, в шестой перешёл. Я не могу жить на этом острове. Помру я тут. Люди! Где вы?! Караул!



Ну да! Дозовешься тут людей! Только лягушки квакают... Никто тут тебя не спасёт, если сам не спасёшься, дорогой товарищ Завгородний! Надо, надо спасаться.

Шлёпаю я по грязи вокруг лодки, носом шмыгаю, что делать — ума не приложу. Пробовал воду из лодки вычерпывать. Да где же её вычерпаешь, если она снова через дырку набирается. Это всё равно что речку вычерпывать. А что, если дырку чем-то заткнуть? Идея! Нарвал я пучок травы, которая одна только на острове и росла, нащупал дырку, заткнул. Снова начал вычерпывать. О! Пошло дело! Хоть помаленьку, но пошло.

Сантиметр за сантиметром борта лодки из-под воды вырастают. Уже и на берег тащить можно.

Кряхтя, потащил. Потащилась. Есть! Теперь надо наклонить лодку — воду вылить, которая уже не вычерпывается. А ну-ну! Ох и трудно! Красные круги перед глазами пошли. А ну ещё малость! А ну!... Ф-фу! Наконец-то! Молодец, Павлуша! Хлопец ты будь здоров! Ого-го-го! Стоголосьим эхом покатила в плавнях радость моя безудержная... Затыкай теперь дырку получше, чтобы снова не случилась какая-нибудь пакость и — в путь!

Помахал я острову, которому так и суждено было остаться на веки вечные необитаемым, и поехал. До села добрался уже без происшествий. Только по дороге всё время на дырку поглядывал (не течёт ли) и несколько раз останавливался, чтобы проверить. Немного воды, конечно, просачивалось, но это не страшно.

Приехал я и сразу взялся лодку починять. До обеда провозился, но все дырки заново законопатил и хорошенько просмолил.

Пока занят я был работой, то ещё ничего, а вот когда кончил, когда вышел я после обеда на улицу, когда глянул на высокий тополь за воротами, у которого мы каждое утро встречались с Кукурузо, чтоб не расставаться уже до самого вечера, то такая тоска меня охватила — хоть плачь. Такой пустой показалась мне улица, всё село, весь мир — как остров необитаемый. Есть люди, и нет их, потому что нет среди них друга моего лучшего. Слоняюсь я по селу, места себе не нахожу. И каждый уголок, каждый кустик и деревце каждое о нём мне напоминают. Вот тут мы в цурки-палки всегда играли... В этих кустах прятались, когда щеглов ловили... На этом дереве соревнования верхолазов устраивали. Помнишь, как ещё тогда ветка подо мной обломилась и я вверх ногами на сучке повис, а потом упал прямо на голову и думал, что голова моя в плечи совсем влезла —дохнуть не мог. Ги-ги!

А впрочем, ты не смеялся, ты мне искусственное дыхание делал. По системе Сильвестрона. Думаешь, я это забуду!...

И на великую китайскую стену я не могу смотреть. Там, за стеною, наш общий враг — Кныш, которого мне теперь придётся одному выслеживать и выводить на чистую воду. Эх, как тоскливо заниматься таким интересным делом одному!

А вон верба над речкой стоит. Найдётся ли теперь кто-нибудь из ребят, кто прыгнет с неё в воду. Нет, не найдётся. Так и останется твой рекорд непревзойдённым навеки. Эх, друг мой, друг, сколько бы ещё ты мог установить таких рекордов!

До позднего вечера бродил я в одиночестве по памятным для нас местам.

Наконец лёг спать.

Я лежу, и не спится мне. Я думаю. За окном темно — хоть глаз выколи. На небе ни звёздочки — облачно.

Что делает там, на необитаемом острове, друг мой Кукурузо? Спит ли?... Вокруг никого. Догорел костёр, и со всех сторон надвигаются чёрные причудливые страшные тени... А он один, не с кем словом перекинуться, только слушает, как стучит его сердце...

А что, если случилось с ним что-нибудь, беда какая-то, и кричит, и зовёт он на помощь, и никто-никто не слышит, только пучеглазые жабы равнодушно квакают в ответ, да утки в камышах крякают, да эхо стоголосое катится — катится плавнями и не докатывается до людей, теряется в густых камышах. Кто ж поможет ему, кто подаст помощь?!

Я лежу, напрягся весь, затаил дыхание. И вдруг послышалось мне, что где-то далеко-далеко пронеслось тонкое и тоскливое: «А-а-а-а-а!..»

То ли еле слышный гудок паровоза на дальнем полустанке, то ли действительно голос — не разберёшь... Но я почему-то уверен, что друг в беде. И никто, никто не знает, где он. Кроме меня. И никто дороги туда не найдёт. Кроме меня. И никто не поможет ему. Кроме меня...

Нет, не могу я спокойно спать, когда друг в беде. Не могу.

— Мама, — говорю, — я пойду во двор спать. На сено. Душно очень.

— Иди, — спросонья говорит мать. — Только одеяло возьми, укройся хорошенько.

Я беру одеяло и выхожу из хаты. И сразу попадаю в густую и даже как будто липкую темноту. Иду почти ощупью, как слепой. Чтоб невзначай не скрипнуть калиткой, прокрадываюсь в сад и уже там перелезаю через забор. Иду по селу, словно по лесу — темень и тишина. Лишь в одном месте мелькает огонёк. Это на столбе у сельсовета горит фонарь. Ветер качает его, и круглое пятно света взад-вперёд скользит по земле, словно качели. А дальше снова темнота. Я дважды уже спотыкался и чуть не упал. Вот и речка. Тут немного светлее. Тускло блестит вода. Я сажусь в лодку, осторожно, чтобы не замочить, кладу на нос одеяло (чего я его взял — сам не знаю) и отправляюсь. Руки мои — будто не мои. Гребут механически — я их не чувствую. И всё тело — не моё: какое-то деревянное. Будто не в действительности всё происходит, а в бреду каком-то. Шелестят камыши — словно по коже моей шелестят.

Лишь бы не сбиться с пути, лишь бы не заблудиться!... Первый плёс. Стружка. Второй плёс. Теперь направо... Вон тот гнилой островок, на

котором я чуть не остался навсегда... Верно. Правильно я плыву. Из-за туч выглянул месяц, и не только в плавнях, а и в душе моей сразу стало светлее и веселее. Ещё немного, ещё... Уже близко. Вот ещё эта стружка, потом поворот и — будто из узенькой улочки выехал я на большущую площадь. Широкий ровный плёс отражал рогатый месяц и серебряные кудри залитых сиянием облаков, и показалась мне вдруг зелёная громада острова гигантской сказочной горой среди бескрайнего моря, и до горы той далеко-далеко, на горизонте она, а сам я маленький-маленький, как букашка. Казалось мне, что я даже дивные города на склонах горы с церквями, с дворцами, с высокими башнями (то причудливо переплелись ивовые ветви) и всадников вижу, которые мчатся по извилистым горным дорогам (не птица ли какая-то шевельнулась в зарослях?), и даже слышу цоканье копыт (то звенит у меня в ушах от тишины)...

Вот ведь порой причудится.

И тем неправдоподобнее и фантастичнее показалось мне то, что я вдруг увидел наяву. А увидел я огромную серую фигуру в лодке у самого берега — будто Гулливер вторгся в страну лилипутов. Я вздрогнул от неожиданности. Кто это? Кукурузо? Но у него же нет лодки! Рыбак какой-то? Но рыбаки никогда так далеко не заплывают в плавни, да ещё ночью. Рыба и у самого села прекрасно ловится...

Злодей? Пират?... Сердце моё покатилося-покатилося куда-то вниз... Тем временем лодка исчезла за прибрежными камышами. Мне так хотелось повернуть и как можно скорее рвануть назад. Но я удержался от этого малодушного порыва. Ведь там, на острове, Кукурузо, мой друг, совсем один. Я же плыву к нему на помощь. И, может, как раз в эту минуту моя помощь ему нужнее всего. Ведь у меня лодка. И если незнакомец, которого я только что видел, действительно опасный злодей и хочет причинить моему другу зло, я спасу друга, мы удерём на лодке. Быстрее, быстрее! Я налёг на весло и направил лодку к берегу. Пристал, вылез и осторожно начал красться в глубь острова. Кукурузо, наверное, в шалаше — скорее всего, спит и ничего не подозревает, — не слышно ни звука. Звать его опасно — сразу привлечёшь внимание незнакомца.

Ох, как темно, какие заросли! Ничего не видать... Внезапно, где-то там, за камышами, где был незнакомец, что-то бултыхнулось в воду. Сердце моё остановилось. Что это?.. Что?.. Ой! А что, если это... если это он уже утопил моего друга! Меня бросило в холодный пот. Прошла минута... вторая. Я стоял в совершенной темноте, вытянув вперёд руки (так как шёл), и не мог шевельнуться. И вдруг... вдруг на мои руки кто-то натолкнулся. Большущий, как медведь. Руки мои сами собой сжались, вцепились в его

грудь. В следующее мгновение я почувствовал страшный удар по ногам и полетел на землю. Но почему-то не назад, а вперёд, на него. Должно быть, он подбил меня и бросил на себя (есть такой приём в борьбе самбо, мы с Кукурузо его знаем). Я вскрикнул и бешено замолотил руками и ногами, вырываясь. Царапнул по чему-то мягкому — кажется, по лицу, изо всех сил рванулся, вскочил на ноги и бросился бежать. Я мчался сквозь чащу, ломая ветки, спотыкаясь и наталкиваясь на деревья. Но я не чувствовал боли ни от царапин, ни от ударов. С разгона я вскочил в лодку и, схватив весло, стал отгребать от берега.

Никогда я не грёб так отчаянно — лодка летела, как ракета. Всё время я панически оглядывался — не гонится ли за мной он. Нет. Погони не было видно... Опомнился я лишь тогда, когда пристал к берегу возле села. Я всё время дрожал от напряжения, от усталости, от страха. Но, несмотря на усталость, по селу я тоже не шёл, а почти всю дорогу бежал — в полной безопасности я мог чувствовать себя только в своём дворе. Мокрый конец одеяла (я всё-таки замочил его) шлёпал меня по спине, словно подгонял... Как бревно, упал я в сено у сарая и долго лежал не двигаясь, словно без сознания, — приходил в себя. В голове, как в испорченном телевизоре, одна за другой проносились картины только что пережитого. Что же случилось?... Кто это был?... Неужели Кукурузо погиб? Что делать?... Может, разбудить отца, всё рассказать, собрать людей и — туда... А если Кукурузо не погиб? Если моя стычка с незнакомцем (теперь я уже почти гордился ею) разбудила его и дала возможность благополучно избежать встречи со злодеем? Ведь я ни в чём не уверен. И тогда, если я приведу людей, тайна Кукурузо раскроется и выйдет, что я изменил... О нет! Изменить другу — ни за что! Я никогда не пойду на измену. Всё, что угодно, только не это. Но что мне делать? Что же делать?... Долго я мучился, но так ничего и не смог придумать. Наконец усталость и сон одолели меня и я уснул...

Ночное приключение было такое неправдоподобное, что когда я утром проснулся, то подумал — не приснилось ли это мне...

Но вот ко мне подошла мать, склонилась:

— Ну как спалось на дворе, сынок?... О, чего это у тебя одеяло мокрое? Разве ночью дождь был? Или, может быть... — Мать улыбнулась

— Да что вы... то... то... я... воды захотелось, кружку сюда взял и разлил нечаянно.

Хорошо, что мать спешила доить корову и не стала допытываться.

Ночное приключение вспомнилось мне во всех подробностях. Но теперь оно почему-то не казалось мне таким ужасным, как ночью. Может,

потому, что утро было солнечное и весёлое, а, как вы знаете, все ночные страхи проходят утром. Ночью всё кажется страшнее оттого, что темно и тихо и люди спят. А утром светит солнце, щебечут птицы, гремят вёдрами женщины у колодцев и всюду люди. Утром, наверное, и умирать не очень страшно. Я был бодр и полон энергии. На остров, немедленно на остров! Узнать, как же там, живой ли...

Умывшись на скорую руку, я побежал в хлев. Мать ещё доила корову.

— Мама! — крикнул я. — Дайте молока, пожалуйста, скорее, потому что я бегу.

— Куда это ты? Сейчас завтракать будем.

— Да я потом. Я не хочу. Я молока только. Я с ребятами договорился на рыбалку.

Ты хоть хлеба возьми.

Выпил я одним залпом стакан молока, отрезал большой кусок хлеба — за пазуху и на улицу со всех ног. За ворота выбежал и с разгона прямо на деда Вараву налетел — чуть с ног не сбил. Он даже пошатнулся.

Тю на тебя! — буркнул сердито. — Ишь разогнался — как голый в баню.

— Извините!... Здравствуйте, диду!

— Здоров. Куда это тебя несёт? Людей с ног сбиваешь.

— Да я на речку, на рыбалку с ребятами уговорился.

— Проспал? — уже сочувственно и вместе с тем укоризненно спросил дед.

— Ага!... Так я побегу! Извините! — А сам думаю: «Эх, не знаете вы, ничего не знаете, куда я спешу. Если бы знали, не то б запели».

Глава XI

Настоящий пират

С волнением подплывал я к острову. И чем ближе подплывал, тем сильнее билось моё сердце: живой или неживой, живой или неживой...

И вдруг — ого-го-го-го-го!... Я увидел Кукурузо. Живой и невредимый стоял он на берегу, высунув из кустов голову, и радостно улыбался мне. Только нос у него был облупившийся, и правую щёку наискось пересекала свежая царапина. Но что такое царапина на щеке такого геройского хлопца, как Кукурузо? Ничто! Когда я пристал к берегу, мне хотелось броситься и обнять его на радостях, но я сдержался. Я лишь толкнул его в плечо и спросил:

— Ну как? Как ты тут?

— Ничего, — шлёпнул он меня по животу и сразу добавил, взявшись рукой за щеку и покачивая головой: — Тут такое было-о-о...

— Что?! — спросил я как ни в чём не бывало, словно и не подозревал ничего.

— Да всё равно, ты не поверишь, подумаешь, что я вру...

— Ну?

— Пираты на меня напали ночью. Вот тебе и ну! Дрался я. Так дрался, как никогда в жизни! Думал, что погибну. Вот видишь... — Он ткнул пальцем в царапину на щеке, потом задрал рубаху и показал синяк на рёбрах.

— Ну? Ну? — с нетерпением спросил я. — Как же это было?

— Погоди. Я всё по порядку... — И Кукурузо стал рассказывать мне то, что вы уже знаете.

Когда же он дошёл наконец до описания драки с незнакомцем — как тот лягнул Кукурузо, как затем упал на него и начал царапаться, — у меня в животе вдруг что-то засмеялось, прощекотало в горле и вырвалось изо рта коротким хихиком. Кукурузо обиженно хмыкнул:

— Ты что — дурной? Тебе, конечно, смешочки. Попробовал бы ты.

— А ну повтори ещё, как всё было — эта драка, — попросил я.

Кукурузо повторил. Я покачал головой, вздохнул и сказал:

— Это был я.

Кукурузо уставился на меня как баран на новые ворота, потом молча сложил кукиш и поднёс к моему носу:

— На!

Я отвёл его кукиш и повторил:

— Это точно был я... Смотри. — Я отвернул штанину и показал на ноге под коленом здоровенную ссадину. — Твоя работа.

И я рассказал ему всё, что случилось со мной этой ночью. Кукурузо только глазами хлопал.

— Так выходит, что это... что это... мы с тобой дрались?... А мне показалось, что был кто-то здоровенный такой...

— А мне, думаешь, нет. Прямо великан!

Мы глянули друг на друга и вдруг захохотали.

— Вот здорово!...

— Вот так так!

— И как я мог не узнать тебя?

— А я?

— Хоть бы слово сказал.

— А ты чего ж как воды в рот набрал?

— С перепугу.

— С перепугу!

— А незнакомец, значит, и не вылезал из лодки?

— Не вылезал.

— А куда же он делся потом?

— Исчез куда-то. Уехал. Я на дерево со страху махнул — всю ночь, как обезьяна, на ветке просидел, до рассвета. И глаз не сомкнул. Только как рассвело, вниз спустился да подремал немного.

— А чего он приезжал, как ты думаешь?

— А я знаю? Уж не в гости ко мне, во всяком случае.

— А ты слыхал, как в воду бултыхнулось что-то?

— Слыхал, конечно. У меня в животе даже тенькнуло.

— Может, это убийца какой-нибудь жертву свою утопил. Или вор клад прятал... А?

— Кто его знает. Пошли глянем, что там делается.

— А ты разве не смотрел ещё?

— Не успел. Только собрался — как ты приехал. Да и с берега плохо — там камыши густые очень. На лодке надо.

Мы сели в лодку и начали огибать остров, приближаясь к тому месту, где ночью был незнакомец. И хоть было утро и светило солнце, сердца наши бились тревожно — мы не знали, что нас ждёт там, за камышами. А что, если в самом деле что-то ужасное... Я грёб, а Кукурузо сидел на носу, всматриваясь вперёд. Лодка медленно огибала прибрежные камыши. Мне

из-за камышей ещё ничего не было видно, когда Кукурузо вдруг воскликнул:

— О!... Всё ясно!

Я нажал на весло и через секунду увидел сам: на тёмной воде гигантским пунктиром белели поплавки большой рыбачьей сети.

— Так вот оно что! Вот что шлёпнулось в воду! Ты прав, Кукурузо. Это был пират. Всамделишный пират. Браконьер.

О, мы знали, мы хорошо знали, что это такое — браконьер! Браконьер — это не охотник, это не рыбак, это злодей, убийца. Я помню, как однажды зимой дед Варава привёз домой на санях смертельно раненного лосёнка. Какой-то браконьер подстрелил его, но заметил охотников и сбежал. Лосёнок лежал неподвижно, и лишь губы у него вздрагивали, будто он хотел что-то сказать, и глаза глядели со смертельной тоской, казалось, вот-вот заплачут. Я и сейчас вижу эти глаза. Как ни старался дед Варава — спасти лосёнка было уже невозможно...

Мы ненавидели браконьеров. Ловить рыбу большой сетью было браконьерством. Это не была спортивная ловля. Это было хищническое, разбойничье истребление рыбы. Мы хорошо знали это.

— Ну что? Что ты скажешь? — спросил Кукурузо. — Кто это мог быть?

— Не знаю. Неужели кто-то из нашего села?

— Во всяком случае, браконьер. Это факт. Что же будем делать?

— Не знаю. Ехать в село сообщить? Не успеем. Он вот-вот приедет выбирать. Раз ночью ставил и на рассвете ещё не выбрал, значит, с минуты на минуту приедет. Это точно. Может, он уже плывёт где-то тут, за камышами.

— И мы допустим, чтобы он на наших глазах это делал?

— А что же ты ему сделаешь? Не позволишь? Да он нас тут утопит, как котят. Никто и знать не будет. И не услышит и не увидит...

— Заяц ты пугливый!

— Ты очень храбрый! Всю ночь на ветке просидел, как курица на насесте.

— Конечно, если ты будешь тары-бары разводить, так он приедет, и мы ничего не успеем.

— А что ты хочешь успеть?

— «Что, что»!... Давай хоть рыбу выберем и выпустим, чтоб ему не досталась...

— А если он нагрянет?

— Ну ты как Карафолька! «Если, если»! Если только языком болтать,

так, конечно, нагрывает и... А ну тебя! — Кукурузо перевесился через борт, схватил конец сети и потянул в лодку. И сразу забился, засверкал на солнце большой, круглый, как тарелка, карась. — Ну же, помогай!

Я бросился помогать... Сроду не видал я столько рыбы, и такой крупной. Мы выбирали её и отбрасывали в воду подальше от лодки, чтобы она снова не попала в сети. Мы спешили, всё время озирались, боясь, что вот-вот появится хозяин сетей. Мы до крови искололи себе руки об острые плавники ершей, порезали пальцы о жабры щук. Но некогда было обращать на это внимание. А одна щука... Ох же щучище! Мы еле перетянули её через борт. Ну как телёнок прямо! Больше метра длиной. Целую минуту мы не могли оторвать от неё восторженных глаз. Всё-таки мы были рыбаки. Сроду нам не приходилось держать в руках такой щуки. И, может, и не придётся никогда. Мы разом вздохнули и, кряхтя от натуги, бултыхнули её в воду. На прощание она так ударила хвостом, что едва не перевернулась лодка.

Выпутывать рыбу из сетей становилось всё труднее — мы устали. А выбрали только половину.

— Знаешь что, — сказал я, решительно шмыгнув носом, — режь сеть ножом! Чтоб она пропала, эта браконьерская сеть! Чего её жалеть?

— Правильно, — сказал Кукурузо, вытащил из кармана мой бывший острый, как бритва, нож, и дело пошло веселей...

Наконец последняя рыбина была выпущена на волю. Мы бросили сети обратно в воду, и Кукурузо сказал:

— Ну всё, теперь айда!...

Нам здорово повезло, просто здорово. Только мы вытащили на берег лодку, только замаскировали её в кустах, как за камышами, там где мы только что были, раздались голоса. Сперва мы не слышали, о чём говорят. Различали только, что один голос мужской, другой женский. Потом мы осторожно подобрались к самому камышу, даже в воду залезли, — прислушались.



— Что за чёрт... нет ничего, — бубнил мужской голос.

— Потому что ты, наверное, ставил так! Растяпа! — раздражённо скрипел женский.

— Да так же, как всегда, ставил! И в том же месте. Всегда столько рыбы было, а тут...

— О, смотри, и сеть порванная!

— Ох ты! В самом деле! И тут... и тут... Что же это такое?

— А то такое, что ты порвал её, негодяй! Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты осторожненько! Такие деньги отдали за эту сеть! А теперь! Плакали мои денежки. Ой, горе ж моё, горе с таким мужем! Ну смотри, ну смотри, что стало с сетью! О господи!

— Да не виноватый я, ей-богу, не виноватый. Не рвал я сети. Целёхонькие вчера были. Чтоб я бога не видел!

Мы притихли, замерли за камышами.

— Кныши! — еле слышно шепчет Кукурузо.

Я молча киваю головой. Я давно уже узнал голоса, а это: «Чтоб я бога не видел!» — развеяло последние сомнения.

Глава XII

Неожиданные гости. Игорь, Валька и остальные

Я не знаю точно, что ощущают пограничники, когда лежат в засаде и слышат разговор шпионов, но мне кажется, что мы чувствовали что-то очень похожее. Мы забыли обо всём на свете. Мы думали только, чтобы не пропустить ни слова и чтобы не выдать себя.

Кнышиха говорила раздражённо и сердито:

— Ну! Ну что я теперь людям скажу?! Завтра же вечером приедут. Близкий тебе свет — из Киева мотоцикл гонять. Да и деньги пропадут... всю ночь сегодня будешь сидеть, пока сети не починишь. Чтоб завтра мне вечером поставил! А я уж их как-то уговорю переночевать. Придётся за поллитрой сбегать... Ох, горе моё! Ну, подожди! Я тебе этой поллитры не прощу! Это слёз моих пол-литра! Дорого тебе обойдётся эта поллитра, изувер!

Кныш только вздохнул.

— Ну давай, давай поехали уже. Ковыряешься, как неживой!

Это были последние слова, которые мы услышали. Из-за камышей нам не было видно Кнышей, и потому мы ещё несколько минут напряжённо прислушивались, пока не убедились, что их уже нет.

— Так! Теперь всё ясно, — сказал наконец Кукурузо.

— А ты думал — шпион.

— А что? Может и шпион по совместительству. Шкодник же. Суслик, а не человек. Долгоносик.

— Да, теперь понятно — и та торговля в парке, и те верзилы на мотоцикле, и всё остальное. Вот гадюка! Так он всю рыбу уничтожит.

— Что же будем делать? Завтра он снова поставит сети и если... — Кукурузо не договорил. Вдруг с плёса донеслась звонкая песня:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!

Голоса были мальчишечьи и девчоночьи — бодрые пионерские голоса. Казалось, что прямо по воде и болоту шагает сквозь камыши весёлый пионерский отряд. Мы удивлённо переглянулись. Что такое? Потом схватились и побежали на берег — туда, откуда виден был плёс. Но ничего не увидели — мешали камыши.

— А ну айда на дерево! — крикнул Кукурузо.

Мы быстро вскарабкались на старую иву, под которой стоял шалаш, — это было самое высокое дерево на острове. И тогда увидели: из стружки на плёс выплывали, будто лебеди, шлюпки. В шлюпках сидели пионеры в белых майках, в белых панамках, с красными галстуками. В первой шлюпке стоял во весь рост стройный высокий парень в белых брюках, без майки, но тоже с пионерским галстуком. Это был, наверное, вожатый. Под бронзовой кожей его выделялись могучие мускулы. Казалось, этот парень сошёл прямо с физкультурного плаката: «Готовься к сдаче на значок ГТО!»

Но вот песня кончилась, и вожатый громко сказал:

— Друзья, предлагаю на этом острове сделать остановку. Как вы считаете, товарищ штурман? — склонился он к маленькому скуластому паренюку с нахмуренными бровями, который сидел на корме.

— Только так! — очень серьёзно ответил хлопец. Все почему-то засмеялись.

— Тогда держите курс на остров, штурман! — в тон ему сказал вожатый.

— Только так! — повторил хлопец.

И снова все засмеялись. Но на штурмана это не произвело никакого впечатления. Он даже бровью своей нахмуренной не повёл.

Одна за другой шлюпки пристали к берегу. И остров вмиг превратился в пионерский лагерь: смех, крики, беготня. Кто-то играл в мяч, кто-то уже плескался в воде, кто-то ловил сачком бабочек.

Мы сидели на дереве, не зная, что нам делать — показываться или нет. Впрочем, долго колебаться нам не пришлось. Какая-то высокая голенастая девочка наткнулась на шалаш и воскликнула:

— О! Смотрите! Здесь кто-то живёт!

Все сбежались. Подошёл и вожатый... Смуглый ловкий мальчишка с фотоаппаратом через плечо юркнул в шалаш и сразу же выскочил, держа в руках электрический фонарик, который я привёз Кукурузо из Киева.

— Фонарик, — пояснил он, — механический. С магнето. Даёт ток только тогда, когда нажимаешь на эту ручку.

И начал жикать, показывая. Кукурузо беспокойно заёрзал на ветке.

Голенастая девчонка тоже юркнула в шалаш и вытащила оттуда ружьё.

— Смотрите, настоящее, охотничье...

— Ой, осторожно: может, оно заряжено. Ещё выстрелит случайно! —
взвизгнул кто-то из девочек.

Кукурузо не выдержал:

— А ну не троньте!

Все сразу подняли головы. Прятаться больше не было смысла. Мы слезли с дерева. И сразу нас обступили пионеры.

— А кто вы такие?

— Что вы тут делаете?

— Это ваш шалаш?

— И ружьё ваше?

— Вы охотники?

— Вы тут живёте?

Я растерянно посмотрел на Кукурузо. Он нахмурился и молчал.

— Да, они, наверно, просто рыбачат тут...

— Или из дому сбежали.

— Или в индейцев играют. Как «Маленькие дикари» Сетона-Томпсона.

Помните?

— Или в робинзонов... Правда ж?

Я совсем беспомощно взглянул на Кукурузо. Мой друг густо-густо покраснел. И вдруг сказал:

— Ни во что мы не играем... У нас ответственное задание. Мы браконьера ловим.

— Ну-у?

— Вот это здорово!

— А кто же вам поручил?

— Почему это нам кто-то должен поручать? — пренебрежительно хмыкнул Кукурузо. — Мы его сами выследили и сами ловим.

Заметив, с каким серьёзным интересом смотрят на него пионеры, Кукурузо совсем осмелел:

— А ну положь ружьё. И фонарик отдай.

Фонарик и ружьё немедленно были положены на место.

— А всё-таки, как вы выследили браконьера? И как вы его будете ловить? — спросил смуглый паренёк с фотоаппаратом.

— И ружьё у вас тоже для этого? Чтоб ловить? — спросила голенастая девчонка.

Я решил, что надо перевести разговор на что-то другое.

— А у вас что — поход? — поспешно спросил я. — Или просто так — прогулка? И вы вообще откуда прибыли?

— Мы из Киева. Юные следопыты. У нас поход по местам партизанских боёв, — охотно объяснил парень с фотоаппаратом.

— Только так! — подтвердил штурман.

— Мы уже домой возвращаемся. Три недели в походе — прибавила голенастая девчонка.

— Не преувеличивай, Валька! Не три недели, а девятнадцать дней. Сегодня двадцатый, — вмешалась в разговор остроносенькая девочка в очках.

— А вы не боитесь заблудиться в наших плавнях? Они ж знаете какие!

— Да у нас же и карта и компас. Чего же бояться!

— Послушай, Игорь! — обратился к пареньку с фотоаппаратом вожатый. — Надо вот что выяснить. Если ребята в самом деле ловят браконьера, может, мы им тут помешаем. Нас много, мы шумим — ещё спугнём его. Вы не стесняйтесь, скажите — если так, мы можем переехать в другое место. Нам же всё равно.

Мы с Кукурузо переглянулись.

— Да чего там, оставайтесь, — сказал Кукурузо. — Он приедет только ночью, да и то не сегодня, а завтра. Так что до завтрашнего вечера вы нам не мешаете.

— Ну смотрите, — сказал вожатый и обратился к пионерам: — Раз так, вынимайте продукты, разжигайте костёр — будем завтрак готовить.

— Только так! — авторитетно подтвердил маленький скуластый штурман.

Пионеры сразу опять загалдели и побежали к шлюпкам.

— Ты, Игорь, займись костром, — сказал вожатый. — Ты у нас мастер.

— Пойдём, я покажу, где хворост, — по-хозяйски предложил Кукурузо.

И мы втроём пошли в глубь острова. Шли и, как всегда бывает в начале знакомства, смущённо молчали — не знали, о чём говорить.

И вдруг Игорь, не раскрывая рта (мы это хорошо видели), громко не то рявкнул, не то гавкнул. И сразу где-то в середине у него заиграла музыка. Настоящая музыка. Джаз. Такое, знаете: бз-вз, дудль-будль, бум-бем, бу-га-га... И потом что-то запело женским голосом по-ненашему... Мы остановились и вытаращили глаза на Игоря: что за чертовщина!

Он засмеялся и передвинул из-за спины вперёд то, что мы всё время считали фотоаппаратом.

— Приёмник. Портативный. На транзисторах... на полупроводниках. Это я только в футляре от фотоаппарата его собрал. Потому что другого корпуса не было. Да и удобно. Через плечо носить можно.

Вот оно что! Так это переносный маленький радиоприёмник. Как мы

сразу не догадались! О том, что такие есть на свете, мы знали. Я в Киеве видел, да и у нас в сельмаге продавались когда-то, «Турист» называются.

— Хорошая штука, — опомнившись, снисходительно сказал Кукурузо. — Сколько дал?

— Что — дал?

— Ну заплатил сколько?

— Нисколько. Сам сделал.

— Что-что? — Кукурузо скривился и приставил ладонь к уху, будто недослышал.

Я хихикнул.

— Сам, говорю, сделал, — серьёзно повторил Игорь.

Я ещё раз хихикнул.

— Ага, — криво усмехнулся Кукурузо. — Ну да. Я же и спрашиваю: сколько дал? У нас в сельмаге «Турист» продавался. Тридцать пять рублей. Красивый, под перламутр. Ну, а этот сколько?

— Вот чудак, не верит... Ну, как хочешь...

Из кустов вышел вожатый:

— О чём это вы, ребята, спорите?

— Да ничего, просто так... — махнул было рукой Кукурузо, но потом, глянув снизу на вожатого, неожиданно ехидно спросил: — Дядя, а у вас все пионеры такие во... или только этот?

— А что такое?

— Да ничего... Просто он говорит, что этот приёмничек сам сделал... Может, вон та девочка настоящий автомобиль сама сделала, а тот штурман — «только так» в космос летал?

— Насчёт космоса и автомобиля не скажу, а вот приёмник он действительно сам сделал. Это точно. Он у нас молодец! В радиокружке уже третий год. Академиком будет.

Вожатый говорил серьёзно, без всяких шуток. Не верить ему было невозможно. Кукурузо сразу скис и сморщился, как футбольный мяч, из которого выпустили воздух. Насмешливые огоньки в глазах погасли, концы губ опустились. Я тоже был удивлён. Мне почему-то всегда казалось, что все эти умненькие образцово-показательные ученички, которые мастерят действующие модели кораблей и самолётов, выпиливают из фанеры лобзиком разные кружевные полочки и сотворяют прочие выставочные штуки, от которых ахают учителя и родители, — все эти «гении» обязательно должны быть хилые, длинноносые и в очках. И обязательно чудаковатые. Так я был уверен. А тут перед нами стоял нормальный курносый хлопец — мускулистый, загорелый, по всему видать,

физкультурник. Как-то больше представлялся он на спортплощадке, среди шумной ватаги спортсменов, чем в тихой лаборатории, углублённым в перепутанные внутренности какого-нибудь радиоприёмника.

Мы молчали растерянные и сбитые с толку.

Вожатый внимательно посмотрел на нас и деланно сердито сказал:

— Что же вы, братцы, разболтались тут, а хворосту не несёте. Люди же голодные. А ну давайте быстрее!

Это сразу вывело нас из оцепенения. Мы бросились поспешно (даже слишком поспешно) собирать сухие ветки. И через минуту уже тащили на поляну большие охапки хвороста. Особенно старался Кукурузо. Он тащил такую огромную охапку, что я боялся, как бы он себе пуп не надорвал.

Голенастая девочка Валька, увидев это, восторженно вскрикнула:

— Ого-го!

И я не знаю, отчего больше был такой красный Кукурузо: то ли от напряжения, то ли от этого «ого-го». Он вообще почему-то часто посматривал на ту Вальку. Нашёл на что смотреть!

Страшило какое-то! Тощее, пучеглазое, длинноногое! Тю! Хуже Гребенючки в сто раз!

Все стояли на поляне и смотрели, как ловко Игорь разжигал костёр. Ты смотри, городской, а умеет...

Вскоре посреди поляны уже лизал небо огненными языками большой костёр.

— Ну, а чья очередь сегодня кашеварить? — спросил вожатый.

— Сашкина! — воскликнула Валька.

— Сашкина, Сашкина! Правильно! — закричали отовсюду, и все посмотрели на штурмана.

— Твоя? — спросил вожатый.

— Только так! — сказал тот.

— Значит, нам сегодня везёт, — улыбнулся вожатый.

— Везёт! Везёт! Уху! Сашок, обязательно уху!

— Ушицу! — слились в одно десятки голосов.

— Только так, — впервые за всё время улыбнувшись, закивал головой Сашко.

Теперь, когда все стояли вместе около костра, было особенно заметно, что Сашко очень маленького роста, ниже всех. Может быть, потому он и держался так серьёзно и нахмуренно, чтоб казаться солиднее. А ещё было видно, что все его любят и если подтрунивают над этим его «только так», то совсем не обидно, а скорее ласково.

Сашко принялся готовить завтрак. Девочки, в том числе и Валька,

помогали ему, чистили картошку и рыбу, которую достали из сетки, что была привязана к корме одной из шлюпок и опущена в воду. Остальные пионеры разбрелись по острову кто куда. Как-то так само собой вышло, что мы очутились рядом с Игорем. Игорь сидел на пеньке и строгал ножом палочку — видно, что-то собирался мастерить. Мы с Кукурузо сидели возле пенька на корточках, уткнувшись подбородками в колени, и задумчиво ковырялись в земле. Потом Кукурузо кашлянул и, насупившись (чтоб скрыть смущение), сказал хрипло:

— Дай посмотреть... приёмник... Можно?

Игорь сразу отложил ножик и палочку:

— А чего же... Конечно. Пожалуйста.

Он открыл футляр:

— Вот настройка, это диапазоны, это громкость, — показал, где что крутить.

Кукурузо склонился над приёмником. Я тоже пригнул голову. Кукурузо оттолкнул меня локтем:

— Не сопи туда прямо. Запотеет и испортится.

Игорь улыбнулся:

— Да ничего. От этого не испортится.

Кукурузо долго крутил в руках приёмник, и мы молча, затаив дыхание слушали голоса далёких стран.

— Да-а... Ценная штука, — сказал наконец Кукурузо и добавил: — Ну, по физике у тебя, конечно, пятёрка?

— Пятёрка, — просто и без хвастовства ответил Игорь.

— А двойки ты хватал когда-нибудь? — с надеждой спросил Кукурузо. — Хотя бы по поведению, по пению, по рисованию, что ли? Или круглый отличник?

— Отличник, — словно извиняясь, сказал Игорь. — Все участники нашего похода — отличники. Такое было условие.

Кукурузо тихо вздохнул.

В это время из кустов выглянула Валька. Должно быть, девочки уже закончили свою работу. Я видел Вальку, а Игорь, который сидел к ней спиной, нет. Валька тихонько подкралась к нему, и я не успел даже открыть рот, как она столкнула его с пенька. Игорь ничего не подозревал и, конечно, вверх тормашками полетел в траву.



— Даме всегда надо уступать место, — сказала Валька, садясь на пенёк.

Игорь поднялся и только улыбнулся в ответ.

Мы с Кукурузо удивлённо переглянулись.

Хорошее дело! Толкового парня — физкультурника, который сам смастерил приёмник, какое-то длинноногое страшило швыряет на землю, будто это не парень, а мешок с картошкой. А он только улыбается...

Попробовала бы мне сделать такое даже Гребенючка, я б ей так дал, так дал, что она десять раз перевернулась бы!

Постойте, а что это с Кукурузо?

— А ну дай мне! — нахально говорит Валька и протягивает руку к приёмнику.

И Кукурузо, телёнок, преспокойно отдаёт приёмник. Вот дурень. Что это — её приёмник, что ли? Чего это она распоряжается.

Впрочем, все эти бодрые возгласы звучат, конечно, только в моей душе. Я молчу. Это же не мой приёмник и не у меня его отбирают.

Валька начала настраивать приёмник, по-птичьему склонив голову к плечу и глядя в небо. Поймала какую-то тягучую мелодию и вдруг весело воскликнула:

— О! О!

Мы удивлённо посмотрели на неё — чего это она вопит?

Мечтательно глядя на плёс и слушая музыку, она тихо сказала:

— «Лебединое озеро»... Адажио...

Я скривился. Вот задавака! Говорит такое, что ничего понять нельзя.

А Кукурузо напустил на себя серьёзность и, нахмурив брови, говорит: — Нет, это озеро скорее не лебединое, а утиное. Лебеди у нас не водятся. Зато уток — тьма-тьмущая!

Валька вдруг как захохочет:

— Ой, держите меня! Ой, не могу! Вот чудак! Я же не про это озеро, а про музыку к балету композитора Чайковского «Лебединое озеро». Как раз сейчас передают.

Кукурузо — будто кто лицо кипятком ошпарил. Вся кровь, какая только у него была, бросилась ему в лицо.

— Можно подумать, что я не знаю — сердито буркнул он. — Прекрасно знаю этот знаменитый балет. А про наше озеро я просто так сказал. Для интереса... Для смеха.

Я отвернулся. Не могу смотреть в глаза человеку, который нагло врёт. Ничего он, Кукурузо, не знал, никакого «Лебединого озера». Потому что слух у него был препоганый. Петь он мог только со мной. Подтягивать. А у самого у него все песни получались на один мотив. Мне было досадно на Вальку, что она заставила моего друга так бессовестно врать. И вообще, чего она пристала к нам?...

И вдруг, словно подслушав мои мысли, Валька резким движением выключила приёмник и сказала:

— Вы на меня сердитесь, ребята, да? Что я пришла к вам и пристаю, да? Так я пойду... Вы не сердитесь. Просто мне хотелось познакомиться с вами...

И так она это просто сказала, что мне стало неудобно. И ни я, ни Кукурузо не нашлись что ответить.

Валька встала, сунула Кукурузо в руки приёмник и побежала к костру.

— Чудачка какая-то... правда? — пожав плечами, смущённо сказал Кукурузо.

— Она хороший хлопец, — неожиданно покраснев, сказал Игорь, — У нас с ней все дружат... А чего ты не включаешь приёмник? Ты включай, не стесняйся. Я недавно поменял батарейку.

Я внимательно посмотрел на него и понял, что он умышленно меняет тему разговора, что больше о Вальке говорить не стоит. Я его хорошо понимал. Мне тоже было бы неприятно, если бы кто-нибудь говорил о Гребенючке...

Я не знаю, сколько мы ещё просидели на берегу возле пенька, но вот послышался голос вожатого: — Игорь, ребята, идите скорее! Уха готова!

— Пошли! — сказал Игорь.

Я как выпил тогда с утра стакан молока, так после этого маковой росинки во рту не было. Был голодный, как арестант, и предложение Игоря мне, конечно, очень понравилось. Думаю, что и Кукурузо хотел есть не меньше.

Но неожиданно он сказал Игорю:

— Ты иди, а мы тут посидим. Мы как раз перед вашим, приездом хорошенько позавтракали.

Я заморгал глазами и разинул рот, но, конечно, промолчал.

— Да не выдумывайте, ребята, пойдёмте! Такой ухи вы сроду не ели, ручаюсь! — уговаривал Игорь.

Кукурузо упрямо отказывался. Я, глотая слюни, поддерживал его. Наконец Игорь махнул рукой.

— Да ну вас! Подождите, я сейчас вожатого на вас напущу! — и побежал к костру.

Однако через минуту вместо вожатого прибежала длинноногая Валька. И сразу набросилась на нас:

— Это ещё что такое?! А ну марш есть уху! Если бы вы меня пригласили, что, я разве отказалась бы?! Я бы отказалась разве, если бы вы меня пригласили?! А ну быстрее!

И, к моей величайшей радости, Кукурузо, который так упрямо отказывался перед Игорем, тут вдруг моментально уступил и покорно поплёлся за девчонкой. И снова мне почему-то вспомнилась Гребенючка...

Я не знаю: то ли я был просто очень голоден, то ли в самом деле уха была какая-то особенно вкусная, но мне показалось, что я действительно сроду не ел ничего подобного. А я же разбирался в ухе. У нас, в нашем «рыбачьем» селе, умели её варить, и сам я варил не раз.

Но эта просто дух забивала — такая вкусная. Все причмокивали от удовольствия и хвалили Сашка-штурмана. А он сидел возле котла с половником в руках, как всегда нахмуренный, и внимательно следил, кому дать добавки.

Теперь мне было понятно, почему все так обрадовались, что сегодня очередь Сашка готовить завтрак. Он был у них признанным кашеваром.

Вскоре все наелись и разлеглись на траве вокруг костра — отдохнуть. Кто-то первый тихо затянул песню, кто-то поддержал, и песня выросла, окрепла и взлетела над плёсом — даже пригнулись камыши...

Реве-е та сто-огне Дні-іпр широкий.

Сердитий ві-ітёр за-авива-а...

Как хорошо было вот так лежать на траве, смотреть в голубую бездну неба и хором петь песню. Казалось, вся земля, весь мир слышит её.

Вожатый тихонько встал, пошёл к лодкам и вернулся с аккордеоном. Песня зазвучала ещё сильнее, ещё слаженней...

Когда кончили «Рёве та стогне...», вожатый сказал:

— А теперь нашу, пионерскую: «Взвейтесь кострами». Затягивай, Сашко.

— Только так, — откликнулся Сашко, прокашлялся, подождал, пока аккордеон проиграет вступление.

Я никогда бы не подумал, что у него такой чистый, звонкий и высокий голос. «Вот тебе и чудаковатый штурман Сашко — «только так»! Мало того что знаменитый кашевар, ещё и певец какой!»

Взвейтесь кострами,
Синие ночи.
Мы пионеры —
Дети рабочих...
Близится эра
Светлых годов.
Клич пионера:
«Всегда будь готов!» —

рвалась в небо песня.

Пели мы часа полтора, а то и больше. Какие только песни мы не пели — и украинские народные, и революционные, и старые комсомольские, и современные, и песни из кинофильмов.

Потом Игорь сказал:

— А теперь, может, пусть Валька станцует...

«Сейчас начнёт кривляться, отнекиваться, а её будут уговаривать», — подумал я. Но она сказала без всякого:

— Пожалуйста. Могу танцевать.

Тут я заметил, что Кукурузо почему-то покраснел и беспокойно заёрзал на месте. Кстати, я ещё и раньше, когда пели, заметил, что мой друг всё время смотрел на Вальку, а когда она случайно встречалась с ним глазами, он сразу отводил взгляд.

— Украинский танец казачок! — объявил вожатый и заиграл на аккордеоне.

Валька начала танцевать. Над моим ухом часто-часто, словно запыхавшись, точно это он сам танцует, дышал Кукурузо.

А когда Валька кончила танец и все захлопали, он не стал хлопать, а почему-то нахмурился и отвернулся.

Потом девочка в очках читала стихи Маяковского. Хорошо читала,

только очень кричала — наверное, даже в селе было слышно.

В общем, получился неожиданный концерт художественной самодеятельности. А потом стали купаться. Игорь плавал кролем, Сашко-штурман — брассом, да и Валька ничего плавала (правда, по-девчачьему — задрав голову и отфыркиваясь). Но прыгать в воду с вербы никто не умел. И вот тут-то мой друг Кукурузо показал, что такое васюковские ребята. Вскарabкался на самую верхушку, раскачался, как обезьяна, на ветке и как прыгнет — почти минуту летел и почти на середину плёса залетел. Все только ахнули.

А вожатый сказал:

— Молодец! Из тебя может выйти хороший спортсмен. Тебе надо в секцию по прыжкам в воду. Молодец!

Меня разобрало, и я хотел доказать, что я тоже геройский парень. Я поплевал на руки и полез на вербу. Но меня постигла неудача. Ужасная неудача. Я зацепился за сучок и разодрал трусы — да как разодрал! — сверху по бедру до самого низа (даже резинка лопнула). Чуть не плача от стыда и горя, я бесславно спустился вниз. Однако никто не стал смеяться надо мной. Наоборот, все меня успокаивали:

— Ничего, бывает. С каждым может случиться!

Девочки наперебой предлагали зашить трусы. Я категорически отказался. Вы себе представляете — вы сидите без трусов, а девочки их в это время зашивают! Лучше утопиться! Я взял иголку и нитку и полез в шалаш. Там, в полутьме, я долго и неумело орудовал иглой, накалывая себе пальцы и глотая слёзы. Неожиданно взгляд мой упал на книжку, лежавшую в углу шалаша, прикрытая листьями. Я заинтересовался, потянул её. То была грамматика. Я сперва удивился, но потом вспомнил, что Кукурузо же взял её, чтобы отвести глаза деду.

В грамматiku была заложена тетрадь. Я раскрыл тетрадь. (Да простит мой друг моё любопытство!) На первой странице начинался «Дневник Робинзона Кукурузо». Что в нём, вы уже знаете: «приключения» и «неприятности» первого дня. «А что дальше?» — поинтересовался я. Перевернул страницу и... вытаращил глаза. Дальше шли упражнения. Почти полтетради было исписано упражнениями по грамматике — и на глагол, и на существительное, и на прилагательное, и даже на суффиксы (на тех дьявольских «детей за сажей», которые так подвели нас когда-то).

Упражнения были написаны карандашом — так же, как и дневник.

Сомнений не было — всё это писалось уже здесь, на острове.

Так вот оно что!

Робинзон Кукурузо, который собирался прожить на необитаемом

острове двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней, готовился к осенней переэкзаменовке.

Ах ты хитрец! Ах ты ужака! Твоя гордость, твоя дьявольская гордость заводилы и атамана не позволила тебе признаться, что ты старательно готовишься к переэкзаменовке, и ты удрал от людей на остров и там зубришь грамматику. Теперь понятно, почему ты именно так назвал свой остров... Ну погоди! Ну смотри! Я тебе!...

А впрочем, что «погоди», что «смотри»? Разве я скажу ему что-нибудь? Разве я ему враг? Разве я хочу, чтобы он провалился, чтобы остался на второй год?

Да нет же! Конечно, нет! И я ничего ему не скажу, ни слова, ни полслова! Пусть думает, что я ни о чём даже не догадываюсь! Пусть думает! Я быстренько положил тетрадь и грамматику на место и прикрыл листьями — вроде и не прикасался.

От моего открытия мне сразу стало легко и весело — будто после дождя солнце засияло. Про стыд и позор свой я и думать перестал. Бодро доштопал трусы и совсем другим человеком выскочил из шалаша. Все заметили перемену в моём настроении и теперь смело начали улыбаться.

А Кукурузо сказал:

— Великое дело трусы! Без трусов — нет человека, а в трусах — есть человек, и даже ещё улыбается, — и хихикнул, бросив взгляд на Вальку. Ему хотелось быть остроумным сегодня.

И хоть глупое было это его остроумие, я не обиделся. Я благородно ему простил.

— Ну, а теперь «Готовься в дорогу», «Готовься в дорогу», — пропел вожатый.

Пионеры засуетились.

Это было для нас так неожиданно, что мы с Кукурузо растерялись.

— Что, вы уже уезжаете? — вырвалось у меня.

— Уезжаем, — сказал вожатый. — Мы и так задержались. Ведь остановка на вашем острове у нас непредвиденная. Мы ночевали на берегу, на лугу возле стогов. А утром туда стадо пригнали. Девчата у нас боевые, но с крупным рогатым скотом не очень дружат. Пришлось поспешно перебазироваться. Даже позавтракать там не успели... А нам сегодня ещё до Андрушевки добраться надо. Засветло доберёмся, как вы думаете?

— А чего... На таких лодках — конечно, — уверенно сказал я. Кукурузо мрачно молчал.

К нам подошли Игорь, Валька, Сашко-штурман и другие пионеры:

— Прощайте!

— До свидания!

— Будьте здоровы!

Мы всем по очереди пожали руки. И тут Валька, протягивая руку Кукурузо, сказала:

— Ой, как жалко, что мы уже уезжаем... И не узнаем даже, как вы поймали своего браконьера. Это ж так интересно!...

Она сказала это с искренним сожалением, и я заметил, как снова покраснел Кукурузо. И вдруг в глазах у Вальки вспыхнули огоньки:

— А знаете что! А вы напишите нам. Я вам оставлю адрес, а вы напишите — хорошо?

— Напишите!

— Конечно!

— Пусть напишут обязательно.

— Напишите! Напишите! — закричали отовсюду.

— Только так! — отрубил Сашко-штурман.

А Валька уже писала на листике из блокнота адрес.

— На, — сказала она, протягивая бумажку Кукурузо. — Только смотри не потеряй!

Кукурузо ничего не ответил — молча сунул адрес за пазуху.

Они сели в шлюпки.

— Споём им на прощание песню! — крикнула Валька. — Запевай, Сашко!

И они запели.

Мы долго стояли на берегу. Их давно уже не было видно, а песня всё ещё звучала из-за камышей и летела над плавнями.

Песню дружбы запекает молодёжь,
Молодёжь, молодёжь!
Эту песню не задушишь, не убьёшь,
Не убьёшь, не убьёшь!...

...А потом Кукурузо лежал в траве на поляне и молча смотрел в небо. Я тоже лежал и смотрел. Небо — это такая штука, что смотреть на него можно часами. Смотреть и думать. Я не знаю, о чём думал Кукурузо, но я совсем не удивился, когда он вдруг вздохнул и сказал:

— Да, сейчас техника, оно вообще, конечно... будь здоров... Говорят, в пуговице — приёмник, в портсигаре — телевизор. А фотоаппарат — так тот вообще под ноготь спрятать можно.

— Что же ты хочешь — на транзисторах, на полупроводниках, — сказал я и покраснел.

Убейте меня, если я хоть понятие имею, что это такое: транзисторы, полупроводники. Да и Кукурузо, конечно, тоже. Ничего мы не знали. Ничегошеньки... А Игорь знал. Конечно, знал, раз сам делал приёмники на этих самых транзисторах...



Кукурузо ещё раз вздохнул и вдруг проговорил:

— Эх, а здорово было бы сделать что-нибудь такое... на транзисторах. Что-нибудь особенное. Интересное и необыкновенное... Например... Например, управление коровой на расстоянии. По радио. Между рогами натянута антенна. В ухо вставлен маленький приемничек (на транзисторах, конечно)... Пасти такую корову — одно удовольствие. Сидишь себе на баштане у деда Саливона, ух и арбузы же там! Сидишь, ешь, значит, арбуз. Потом глянул на карманный телевизор, видишь — твоя Манька в колхозном просе. Вот негодница! Но ты не поднимаешь паники, не вскакиваешь и не бежишь туда сломя голову. Ты спокойненько нажимаешь кнопку и в микрофон: «Манька-а! А ну назад, убоище! Га-ля-ля-ля!» И Манька, будто её кто кнутом вдоль спины, — назад. А ты продолжаешь сидеть и есть арбуз. Красотища! Скажи?

— Ещё бы! Если бы такое сделать, то вообще!... — говорю я, не находя слов от восторга.

Кукурузо сокрушённо вздыхает:

— Да разве на этом острове что-нибудь сделаешь... на транзисторах... Фигу с маком... на транзисторах... И то не сделаешь. Потому что маку нет.

Я подхватил:

— Ну да! Конечно, ты прав! И кому нужен этот дурацкий остров! Поехали домой. А? Поехали!

Кукурузо сразу нахмурился, взглянул на меня исподлобья:

— Думаешь, что я слабак?! Да? Купить хочешь? Не купишь!

— Ты же сам сказал, — обиженно ответил я.

— Ничего я не сказал... Раз я решил жить на острове — всё. И не говори мне...

Воцарилось напряжённое молчание, которое бывает, когда друзья чувствуют, что между ними есть что-то неискреннее...

Наконец Кукурузо сказал:

— Ты бы лучше подумал, как мы будем Кныша задерживать.

Я удивлённо посмотрел на него. Когда он говорил юным следопытам про задержание браконьера, всё было правильно: нельзя же было, в самом деле, рассказать им правду об острове Переэкзаменовки. Но теперь... неужели он серьёзно?

— Ты что — действительно думаешь его задерживать?

— А ты что — хочешь, чтобы этому долгоносику всё так гладко сошло?

— Да ты что — сдурел? Он же нас потопит, как цуциков. Мы пикнуть не успеем. Раз — и поминай как звали.

— Потопит? А ружьё зачем? Ты думаешь, что для этого дела обязательно нужен взвод солдат? Ружьё — это, брат, не шутка. Это, брат, оружие. Огнестрельное. Бац — и будь здоров, не кашляй! Чуешь?

— Ты что, думаешь в него стрелять? — со страхом спросил я.

— Ну вот ещё — сразу стрелять! Не стрелять, но... если... да вообще ружья кто хочешь испугается. И будет как миленький...

— Конечно, конечно, — поспешно согласился я и тут же сказал: — Но, знаешь, мне сейчас домой надо. Видишь, солнце уже садится. Боюсь как бы мать не заругала.

— А я что — удерживаю? Езжай, — недовольно сказал Кукурузо. — Только завтра же будет Кныш. И... я не знаю... ты как хочешь... я могу, конечно, и сам... раз ты боишься... Пожалуйста.

— Да нет, что ты, — спохватился я, — завтра я приеду. А как же!

— Было бы хорошо, если бы под вечер и переночевать чтобы смог, — уже примирительно сказал Кукурузо. — Он ведь завтра ночью будет ставить, а рано утречком выбрать приедет.

— Трудно, конечно, с ночёвкой. Но я что-нибудь придумаю. Сбегу, в крайнем случае. Лишь бы не уснуть нечаянно.

— Полено под голову положи или репейников под сорочку.

— Не волнуйся, всё будет в порядке.

С этими бодрыми словами я сел в лодку. Лицо у Кукурузо было мрачное и грустное. Видно, ему очень не хотелось снова оставаться на острове одному. Он долго ходил по колёно в воде вокруг лодки и ощупывал борта, приговаривая:

— Вот тут надо бы зашпаклевать, а тут подсмолить, а эту доску вообще заменить...

Ему хотелось ещё что-то сказать; он почесал за ухом, шмыгнул носом и наконец сказал:

— Ты знаешь... Ты бы привёз мне скрипача хоть одного... Захотелось, как перед смертью... А то всё рыба да рыба...

«Скрипачами» называли у нас пряники, которые продавались в сельмаге. Пересохшие и твёрдые, как дрова, они скрипели, когда ты вгрызался в них зубами.

Один скрипач можно было есть целый день. Может, за это мы и любили их так.

— Ладно, привезу, а как же, — сказал я и оттолкнулся от берега.

Глава XIII

Во сне и наяву

— Где это ты весь день бегаешь не евши? Смотри, глаза запали, — укоризненными словами встретила меня мать.

— Да что вы, мама! Я уши вот так наелся. Ох и вкусная! Там один Сашко таким мастаком оказался — лучше любого повара...— Это вырвалось у меня так неожиданно, что я едва успел схватить себя за рот, чтоб вовсе не проговориться.

Мать заметила мой жест и, подозрительно взглянув на меня, спросила:

— Это ты про которого Сашка?

— Да про... про Юрчишина, — начал выпутываться я. — Тот, знаете, что возле мельницы живёт, дяди Михаила сын.

А сам думаю: «А что, если мать его сегодня днём в селе видела. Пропал тогда!...» Нет, пронесло! Мать ничего не сказала. Значит, не видела.

Так что — хорошо клевало?...— ласково улыбнувшись, спросила она.

— У-у! Со страшной силой! Вот такие ловились, — не краснея, врал я. — Хотел вам принести, так всю сварили. Вот жалко. Ну я ещё принесу... Мы завтра на ночь хотим поехать. На плёсы. Пустите?

— Посмотрим, посмотрим. Иди-ка наколи дров, а то у меня все вышли.

И я, довольный, что всё так хорошо обошлось, побежал колоть дрова.

До самого вечера я волчком вертелся около матери — то воды принесу, то в хате подмету... Такой хороший, хоть к болячке прикладывай. А что ж сделаешь — надо же, чтоб завтра на ночь отпустили. Кукурузо ведь ждать будет...

Набегался я так, что когда вечером лёг, то сразу же провалился в сон, как в топор в прорубь.

И приснилось мне что-то невообразимое. Не сон, а кино прямо. Я его на всю жизнь запомнил.

Стою я на берегу острова Переэкзаменовки. Стою и вижу: выплывает на плёс корабль, огромный белый океанский корабль (я такие только в кино видел), трёхпалубный, с бассейнами, с ресторанами, с волейбольной площадкой. А труба величиной с нашу хату. Я смотрю и удивляюсь: как это он через узенькие стружки в камышах проплыл? Но не успел я как следует

наудивляться, как с корабля спускают трап и по трапу сходит на берег... Гребенючка.

Подходит ко мне и говорит:

«Здравствуйте вам. На остров приехала немецкая делегация пионеров. Вы будете переводчиком».

Я обалдело смотрю на неё, и мне хочется сказать: «Чего это ты, дурья голова, меня на „вы“ называешь», — но вместо этого я почему-то вежливо отвечаю:

«С превеликим моим удовольствием. Однако хочу вам напомнить, что в школе я, как вам известно, изучаю английский язык и по-немецки поэтому говорю не очень свободно. По-немецки я знаю всего три слова: дер Тыш (то есть стол), дер Стуль (то есть стул) и дер Бляйштифт (то есть карандаш)».

«Ничего, — говорит Гребенючка, — этого вполне достаточно. Принимайте гостей. Вот они, пожалуйста».

Я смотрю и вижу, что по трапу спускаются Игорь, Сашко-штурман и Валька.

«Вот оно что! Так они, значит, немецкие пионеры, а не наши».

Мы идём по острову и подходим к шалашу. Возле шалаша стоит Кукурузо и независимо ковыряет в носу.

«Знакомьтесь. Губернатор острова Переэкзаменовки Робинзон Васильевич Кукурузо, — говорю я, как мне кажется, на чистейшем немецком языке, а сам думаю: „Тю! Чего это я его губернатором окрестил? Что он, капиталист, что ли? Он же наш, советский Робинзон. Надо было, наверное, сказать: „Председатель сельсовета“. Но какой же тут сельсовет, если это необитаемый остров и Кукурузо здесь один!»

Между тем Кукурузо говорит:

«Пожалуйста!»

И мы входим в шалаш.

Входим в шалаш и оказываемся в большой светлой комнате, где всё белое, как в больнице. Посередине на белом столе стоит блестящая никелированная кастрюля.

«Кастрюля, — объясняет Кукурузо. — На транзисторах. Сама варит. Без огня».

Ты смотри. Вот чёртов Кукурузо. Всё-таки понавыдумывал это самое... На транзисторах. А говорил, что на острове нельзя ничего выдумать.

«Дер Стуль?» — спрашивает вдруг Валька.

«Дер Бляйштифт», — отвечаю я и сам удивляюсь, как складно

выходит. Ведь она спросила: «Слушайте, а вы браконьера своего поймали?» — а я ответил: «Конечно, поймали. Всё в порядке. Не волнуйтесь».

Какой хороший немецкий язык: одно слово скажешь — и всё понятно. Надо будет на следующий год попроситься в школе в немецкую группу. Обязательно. Отличником в ней стать — раз плюнуть. Теперь я понимаю почему все они — и Валька, и Игорь, и Сашко — отличники.

Тут вдруг ко мне подходит Гребенючка и говорит:

«Даме всегда надо уступать место!» — и изо всей силы толкает меня в грудь.

«Только так!» — слышится голос Сашка-штурмана.

И я лечу, лечу, лечу — куда-то в пропасть. Геп — и просыпаюсь. Лежу на полу. Болит плечо. Это я во сне свалился с кровати.

Вот ведь какая ерунда приснилась.

Было уже поздно. Мама и папа ушли на работу. На столе, прикрытый салфеткой, стоял завтрак и лежала записка, в которой мать наказывала сделать то-то и то-то по хозяйству. Очевидно, по моему вчерашнему поведению она заключила, что это доставляет мне большое удовольствие. Я поморщился. Не очень-то легко быть хорошим.

Провозился я до полудня. Потом полез на великую китайскую на наблюдательный пункт — посмотреть, что там делается у браконьеров.

Во дворе у Кнышей было тихо. Кнышиха, наверное, на базаре, а Кныш... Кныш лежал под грушей и спал. Вероятно, всю ночь чинил сети и теперь отсыпался.

Он лежал на спине, прикрыв лицо от солнца рукой. И когда я взглянул на его волосатую руку с растопыренными пальцами, мне даже показалось, что на этих пальцах когти. Как это мы будем задерживать его — такого длинного, волосатого и страшного, — у меня не укладывалось в голове. Слез я и пошёл на улицу, прогуляться. По дороге я заглянул во двор к Реням. Дед Варава сидел на завалинке и точил мантачкой косу.

«Эх, ничего вы, диду, не знаете, где сейчас ваш дорогой внучек, — подумал я. — Если бы знали, не сидели бы так спокойно. А ночью сегодня вообще неизвестно, что его ждёт! Настоящая военная операция. Может, и стрелять придётся!»

Но дед Варава не прочитал моих мыслей, даже головы не поднял. Крадучись, чтобы он меня не заметил (а то, чего доброго, ещё спрашивать что-нибудь начнёт), я проскользнул мимо открытой калитки и пошёл дальше. На душе у меня было беспокойно. Всё-таки задерживать браконьера — это не шутки. Это не какая-нибудь там мальчишеская выдумка, а настоящее серьёзное дело. Может, лучше было бы всё-таки

рассказать взрослым и уже с ними... Но это значит — раскрыть тайну острова, предать Кукурузо. Это — измена, предательство. А на предательство я не пойду. Ни за что! Нет! Всё, что угодно, любая опасность, но не предательство.

— Чего это ты нос снова повесил? Опять что-то натворил и мать ремня дала? — услышал я вдруг. Поднял голову. У колодца с ведрами и коромыслом стояла Гребенючка и смотрела на меня с улыбкой. — И чего это ты один? А где же твой переэкзаменовщик? Поссорились, что ли?

Наверное, надо было ей сказать что-нибудь резкое и презрительное: «Не твоё свинячье дело», — но мне не хотелось так говорить, и я просто сказал:

— Он в Песках, у тётки.

— А ты, бедненький, ходишь и плачешь.

И опять я удержался от обязательного в таких случаях: «Сама ты плачешь. Вытри у себя под носом», — а честно признался:

— Не плачу, но скучаю.

Мои непривычно смиренные ответы, должно быть, удивили и тронули Гребенючку. Она посмотрела на меня с сочувствием и сказала:

— Так чего же ты к школе не приходишь, на площадку? Мы там всегда в волейбол играем и в другое всякое.

— Да-а... — неопределённо протянул я.

И вдруг мне очень захотелось рассказать ей и про остров, и про браконьера Кныша, и про юных следопытов, и даже про сон, который приснился мне сегодня. Я еле сдержался. Если бы это была только моя тайна, я бы, наверное, рассказал. Но Кукурузо!... Он бы никогда не простил мне этого. Как трудно порой быть верным другом! И ещё я неожиданно подумал: «А умеет ли Гребенючка танцевать казачок?» И почему-то решил, что, наверное, умеет...

Пока мы говорили, она опустила ведро в колодец и теперь начала вытаскивать, крутя обеими руками ручку ворота. Я сперва смотрел, потом махнул рукой: «А! Кукурузо не видит!» — и сказал:

— Давай помогу!

Она ничего не ответила, я взялся за ручку, и мы стали крутить вдвоём. Мы крутили так энергично, что ведро ударялось о стенки сруба и слышалось непрерывное хлюпанье — будто водопад. Когда мы вытащили, воды было всего полведра. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Давай ещё.

Мне было очень весело вот так, вдвоём, крутить ворот. Наши руки соприкасались, мы толкали друг друга, а один раз даже стукнулись лбами.

И всё время смеялись. Стало жаль, когда вёдра были уже полными.

Она нацепила их на коромысло, взяла на плечо и пошла, покачиваясь. Где-то в глубине у меня шевельнулась мысль: надо бы помочь ей, донести хоть до ворот... Но на это у меня уже не хватило пороку. Я только молча смотрел ей вслед. И думал, что на необитаемом острове я бы не жил ни за что на свете. Даже если бы мне давали велосипед «Орлёнок»...

«Ой! — вспомнил я вдруг. — Кукурузо же просил скрипачей привезти. А сельмаг скоро закроется».

И тут, как палкой по голове, стукнула меня мысль: «Батюшки! Да у меня же денег ни копейки! А скрипачи — девять копеек сто граммов. Что делать? Пока мать или отец придут, сельмаг будет уже закрыт».

Гребенючка входила уже в свою калитку.

— Гр... Ганя! — крикнул я, чуть ли не впервые в жизни называя её по имени.

Она качнулась и пролила воду от неожиданности.

— Ганя, — подбежал я к ней, — погоди!... Знаешь что, одолжи мне девять копеек. Мать с фермы придёт, я сразу отдам.

— Зачем? — лукаво взглянула она на меня. — На папиросы?

— Да какие там папиросы! Очень нужно... Я на рыбалку на ночь еду. Крючков купить, а то сельмаг закроется. Чёс-слово отдам. Одолжи.

— Только у меня девяти нету, у меня целых пятьдесят. Монеткой. Мать на книжку дала. Хорошая книжка продаётся: «Путешествие на „Кон-Тики“». Про то, как на плоту океан переплывали...

— Я сдачу принесу. Я быстро.

— Подожди, я вынесу.

Короче говоря, скрипачей я купил, Гребенючке сдачу отнёс, а когда мать пришла, и долг вернул. Всё вышло хорошо. Даже не пришлось долго просить у матери девять копеек. Сразу дала. И на ночь отпустила. Вот что значит быть хорошим и выполнять всё, что тебе наказывает мать!

Ещё и харчей напаквала полную торбу — будто я на месяц путешествовать еду.

И когда зашло солнце, я отправился в плавни. По дороге в сенях захватил ещё длинную толстую верёвку, которой мать когда-то телёнка привязывала. «Кто его знает, может, придётся связывать, так чтоб было чем...» — подумал я, ощущая при этом неприятный холодок в животе.

Глава XIV

«Руки вверх!»

Кукурузо с удочкой в руках торчал по пояс в воде у берега. Торчал, должно быть, давно, потому что уже посинел и лязгал зубами.

— Я думал, что ты вовсе не приедешь, — сердито пробормотал Кукурузо, но я видел, что он прячет радостную улыбку. Видимо, он и вправду боялся, что я не приеду.

Кукурузо вышел из воды и стал приседать и в обнимку хлопать себя руками по спине, как извозчик на морозе, — согревался. Потом спросил:

— Ну как там?... Что нового?... Как мой дед? Ещё в милицию не заявил?

— Да что ты! Сидит себе спокойненько и косу точит. Про тебя и не думает.

Кукурузо нахмурился, и я понял, что ему неприятно это слышать. Ему, наверное, казалось, что он уже давно-давно на этом острове, а, оказывается, никто даже не заметил его отсутствия.

— Ну и правильно. Хорошо. Скоро вообще все забудут, что был такой я... И всё будет в порядке, — бодро говорил он, но в голосе слышалась грусть и тоска. Кому же хочется, чтоб его все забыли!

Я вынул из кармана кулёк со скрипачами и протянул ему.

— О, привёз! Вот спасибо! Ох, я соскучился! — И он тут же со скрипом впился зубами в пряник.

— Ну, а ты что же делал? Вчера и сегодня весь день? — спросил я.

— Да что — рыбу удил и просто так...

— Ну, а дневник свой ты хоть пишешь?

— Не-а, не пишу, — легкомысленно произнёс он, грызя скрипач. — Бросил. Это же всё равно что уроки готовить. Для того, что ли, я на необитаемый остров запроторился!..

Я ничего не ответил: я ведь знал, что там, в дневнике.

— Слушай, давай в цурки-палки сыграем. Я так давно не играл! — предложил вдруг Кукурузо.

— А что — можно, — согласился я.

И старые селезни-крыжаки, и пучеглазые жабы, и шустрые камышовки, и другие обитатели плавней впервые, наверное, в своей жизни услышали отчаянное и протяжное:

— Цурки-палки — накувалки накую-у-у-у...

Дотемна играли мы с Кукурузо. Перестали только тогда, когда уже не только цурки, но и палки не стало видно.

Ещё во время игры чем больше темнело, тем сильнее беспокойство охватывало меня. Я, конечно, старался не показывать этого Кукурузо, но с каждой минутой что-то всё противнее щемило у меня в середине. А когда совсем стемнело, я уже был, что называется, готов: едва сдерживался, чтоб не стучать зубами...

— Ну, теперь тихо, теперь — ни звука. Скоро он приедет, поставит сети, и тогда... — прошептал Кукурузо. Именно это «тогда» больше всего меня и страшило...

Ночь, как назло, опять была облачная, беззвёздная — будто кто-то накрыл землю чёрной дерюгой.

— Значит, план такой, — шептал Кукурузо. — Задерживаем с лодки. Я сижу на корме с ружьём, ты на носу с фонариком. Я говорю: «Р-руки вверх!» — ты в это время светишь фонариком и кричишь: «Товарищ Валигура, заходите справа, Николай Павлович, заходите слева». Чтоб он думал, что нас много. Так даже настоящие пограничники делают, когда задерживают шпиона...

— А... а что мы потом будем делать, когда задержим его? — поинтересовался я.

— Как — что?... Передадим в милицию. Товарищу Валигуре передадим.

— Так, значит, ты свой остров бросишь и не будешь больше Робинзоном? Рассекретится же всё...

Ох и зачем я это сказал!

— Нет, ни в коем случае! — категорически прошептал Кукурузо. — Я останусь на острове. А ты повезёшь его в милицию.

Мне стало совсем плохо.

— Да что... да как... да ну... — залепетал я.

— Подумаешь! Отведёшь к милиционеру товарищу Валигуре, и всё.

— Да Валигура же ещё спать будет, — чуть не заплакал я. — Что же я с этим бандюгой сам ночью буду делать? Он же меня задушит.

— Не бойся. Я дам тебе ружьё. Потом привезёшь.

— Н-не надо! Н-не давай! — теперь уже категорически прошептал я. — Я б-боюсь. Я ружья боюсь ещё больше, чем Кныша. Стрельну нечаянно, убью его, и меня расстреляют...

Я уже окончательно понял, что у Кукурузо никакого плана не было. Он всё продумал только до того момента, когда скажет: «Руки вверх!» — и

Кныш станет, шатаясь, в лодке с поднятыми руками. А дальше, выходит, всё должен делать я. Дудки!

— Не! Так не будет! Я сам Кныша не повезу, как хочешь...

— Да ладно уж! Чего слюни распустил! До села вдвоём довезём, а потом я вернусь. Не знал я, что ты такой трус!

Мне стало стыдно. Кукурузо был намного храбрее меня. Ишь как уверенно держится! Я решил взять себя в руки.

Несколько минут мы молчали. И вдруг услышали тихий шелест. Потом — плюх!... А затем-ляп-ляп-ляп!... Мы замерли. Сомнений не оставалось — Кныш забрасывал сети.

Мы напряжённо ждали. Наконец воцарилась абсолютная тишина. Кныш уехал. Мы подождали ещё немного. Тишина. Ни звука. Кныша нет.

— Ну, теперь на лодку и в засаду, — шепнул Кукурузо.

Он зарядил ружьё, дал мне фонарик, мы сели в лодку и тихо поплыли под берегом.

— О! Есть! — шепнул я. Я сидел на носу и первый увидел поплавки рыбацкой сети, которые белели на воде.

Мы загнали лодку в камыши как раз против поплавок. Замаскировались. Теперь нам осталось одно — ждать, долго ждать, может быть, даже всю ночь, до самого рассвета, пока не приедет Кныш выбирать рыбу.

— Спать нельзя. Ни минуты. А то начнём клевать носом, разморит — будем как мокрые курицы, и ничего не выйдет, — сказал Кукурузо.

— Ты прав, — вздохнул я. Мне уже сейчас хотелось спать.

Я широко раскрыл глаза, всматриваясь в темноту, в которой еле-еле можно было различить на фоне неба очертания камышей, но глаза сами собой слипались, и приходилось время от времени окунать руку в воду и протирать их.

Наверное, нет ничего труднее, чем не спать, когда хочется спать. И, наверное, нет более длинных минут, чем те томительные минуты полусонного ожидания в темноте...

— Не спи, потому что прозеваем, — шипит с кормы невидимый Кукурузо.

Если бы он знал, как мне хочется именно прозевать! Да разве с ним прозеваешь, с таким упрямым! Неужели он в самом деле не боится?



Фантазия рисует мне страшные картины: Кныш, хищно оскалившись, бьёт меня веслом по голове, я падаю с лодки, глотаю воду, задыхаюсь, водоросли опутывают меня и... Мне даже вправду становится тяжело дышать. И зачем мы влезли в это дело! Действительно, кто знает, что может быть! А что, если случится то, о чём я только что думал... Это ещё хорошо, если найдут наши тела. Тогда будут торжественные похороны, с музыкой, с речами и выступлениями. Хоронить будет вся школа, всё село. И все будут плакать. И Гребенючка, размазывая по щекам слёзы, будет говорить: «А я же видела его накануне. Он был такой хороший, такой вежливый — помогал мне вытаскивать ведро из колодца. И Ганей называл. Я ещё ему девять копеек одалживала. Знала бы — и пятьдесят отдала ему насовсем. Какой был хлопец!»

Мне становится так жалко себя, так жалко, и я сам кажусь себе таким несчастным, что начинает щемить в горле.

Но Кукурузо ничего этого не понимает. Он опять шипит с кормы:

— Не спи!

И я трагическим шёпотом отвечаю:

— Да не сплю я, не сплю, чего ты!

Время идёт.

То ли глаза привыкли к темноте, то ли становится светлее, но уже лучше видны камыши, и вода блестит, и клубятся в небе тучи. А может, это

уже светает?... У меня такое впечатление, что мы сидим целую вечность.

И вдруг — словно кто пырнул меня чем-то острым в грудь. Из темноты вынырнула лодка. Она плыла прямо на нас. Ближе, ближе, ближе. В лодке грозная фигура гребёт веслом. Кньш!

Сердце повисло у меня на тоненькой ниточке — вот-вот оборвётся. Я обхватил руками нос лодки, не шевелюсь.

И тут на корме звонко щёлкнул курком Кукурузо и срывающимся басовитым голосом изо всех сил крикнул:

— Р-руки вверх!

Я забыл про фонарик, забыл, что мне надо кричать, и панически взвизгнул:

— Дядя милиционер, сюда!... Дядя милиционер, туда! И замер испугавшись собственного голоса.

— Руки вверх! Руки вверх! — скороговоркой и уже не так басовито повторил Кукурузо и тоже растерянно умолк.

Какое-то мгновение было тихо, потом...

— Га? — будто недослышав, спросила «грозная фигура».

И... что-то глухо ударилось о дно нашей лодки — это выпало из Кукурузовых рук ружьё. А я на всё небо разинул от неожиданности рот. И, только сейчас вспомнив о фонарике, нажал на рычаг, выдавливая из него свет.

Перед нами был... дед Варава.

— Диду, это вы? — плаксивым растерянным голосом спросил наконец Кукурузо.

— Да я же, я, — сказал дед, подплывая к нам. — Не узнали?... Так как же это вас понимать? В разбойники, внучек, пошли, значит? Ружьё на людей наставляешь? С наукой ничего не вышло, так в разбойники?...

— Да что вы, диду? — взвизгнул Кукурузо. — Такое скажете! Какие там разбойники! Вот гляньте только! А ну присвети, Павлуша.

Я зажигал фонариком. Я готов был всю ночь жикать, так я был рад, что это дед Варава. Я просто готов был его целовать. Страх мой — как корова языком слизнула. Раз это дед Варава, я уже не боялся ничего на свете. Я направил свет фонарика на поплавки.

— Ага, — сказал дед, — вижу. Сети. Значит, не разбойники, а браконьеры вы... Обрадовал, называется... Те же самые штаны, только назад пуговицей.

— Да что вы, диду! Это же не мы, это же не наши. Это Кньш. Мы выследили его и хотим задержать.

— Вот оно что? Кньш? А вы не ошибаетесь?

— Да мы своими глазами видели! — теперь уже не удержался я. — И как ставил, и как выбирать один раз приезжал... Вдвоём с Кнышихой.

— Ну, тогда другое дело. Тогда вы молодцы. Только рано вы его ждёте. Он приедет под утро, часа в три-четыре. А сейчас ещё двенадцати нет.

— Да ну! — удивился я.

— А вам показалось, что уже и ночь прошла? Давно ждёте?

— С самых сумерек.

— Вот бедняги. И не заснули. Ну так ложитесь, а я подежурю, раз так. А потом разбужу.

— Да что вы — мне вовсе не хочется спать, — хорохорился Кукурузо.

— И мне, — вынужден был сказать и я.

— Ну смотрите, — равнодушно сказал дед и осторожно стал загонять свой челнок в камыши рядом с нашим.

Мы молчали. Кукурузо, видно, ждал и боялся дедовых расспросов. Но дед молча маскировал свой челнок камышами. В таких случаях всегда лучше самому что-то спрашивать. И Кукурузо наконец несмело спросил:

— Диду, а вы как здесь очутились?

— Топиться ехал. С горя. Что у меня внук такой непутёвый.

— Да не шутите, диду.

— Вот, интересно мне с тобою шутить!

— Ну, скажите, диду, — канючил Кукурузо.

Ты же мне соврал, чего же я должен правду тебе говорить.

— Да я... — запнулся Кукурузо. Что же тут скажешь?

— Эх-хе-хе, — печально вздохнул дед. — Куда же я мог ехать!... Тебя, дурачка, искал... Взялся это я сегодня днём ружьё своё чистить. В воскресенье же открытие охоты. Решил и твоё почистить. Думаю, хоть и двоечник ты, а жалко — всё равно надо же из тебя охотника сделать. Гляжу — нет твоего ружья. Туда-сюда, всю хату перерыл — нету. Неужели, думаю, украл кто-то? Потом глядь — патронов почти половины нет (они же у меня, дурачок, на счету). Стал догадываться. Тем более, вижу, и стёганки нет, в которой ты со мной на охоту ходил... Но всё-таки решил проверить. И потащился аж в Пески к тётке Ганне... Вот так ты мои старые ноги жалеешь! Туда семь километров, назад семь. Там тебя, ясное дело, не нашёл... Ганне не стал ничего говорить, чтоб не волновалась. Ну, думаю, не иначе, как в плавни хлопец махнул, чёртова душа. Я и сам туда пацаном когда-то удирал... Пришёл из Песков — уже вечерело. Надо бы на утро поиски отложить, да на душе беспокойно. Всё-таки плавни — это не шутка. Не один фашист могилу тут себе нашёл. Чем дома сидеть, дай, думаю, поеду поищу. И поехал. Вот так-то...

Мы всего могли ожидать — и того, что дед будет сильно ругаться, и даже уши надерёт, как бывало. Но что дед будет говорить так просто и откровенно, мы, конечно, не думали. Мы притихли и молчали.

— Эх, неужели я помру и не увижу, выйдет из тебя человек или нет? — с болью сказал дед.

— Не говорите так, диду, не помрёте вы, — испуганно пискнул Кукурузо.

— А ты что думал — дед вечный?... На девяносто уже повернуло! Ещё немного — и бултых в могилу вниз головой. Недолго ждать уже...

— Я, может, ещё даже раньше вас помру. Помните, как у меня чиряк на ноге был и температура сорок... Так что не говорите.

— Э, сынок, закон есть: молодые могут умереть, старые должны умереть... Так уж заведено. И не нужно в этом соревноваться. Лучше в другом чём-нибудь.

Воцарилось молчание. Видно, слова деда сильно расстроили и взволновали моего друга. Да и меня тоже. Никогда я не видел деда таким. Всегда он бурчал, ругался, даже подзатыльники давал, а тут... Эх, лучше бы он нам уши надрал...

— Диду, — жалобно сказал Кукурузо, — вы не говорите матери. Я вас прошу. Га, диду?

— Да что там говорить. Нечем радовать.

— Я учу грамматику, учу, честное слово. И переэкзаменовку сдам.

— Увидим... Ложитесь-ка поспите немного. Потому что в самый нужный момент будете как червяки в обмороке. Ещё долго ждать.

— А вы? Может, вы поспите, а мы подежурим.

— Давай-давай! — буркнул дед... Это уже было привычное дедово «давай-давай», и от него стало легче.

Кукурузо больше не спорил и послушно стал укладываться. Я, конечно, тоже.

Сон поборол меня сразу, как только я положил голову.

И показалось мне, что не проспал я и минуты, как кто-то тронул меня за плечо. Я раскрыл глаза и в то же время почувствовал на своих губах прикосновение заскорюзлого дедова пальца. И сразу сообразил, что нужно молчать.

Уже светало, и в серой предрассветной мгле я увидел, что Кукурузо сидит на корме и мигает заспанными глазами. Я осторожно приподнялся и посмотрел на плёс. Кныш сидел в лодке и выбирал из сетей рыбу. Кнышихи не было. Большие щуки, леци и караси мокро шлёпались на дно лодки. Улов был богатейший!

— Ну, пошли, хлопцы, — шепнул дед и громко кашлянул: «Кха-кха!» Кныш вздрогнул, съёжился, втянул голову в плечи.

Дед осторожно, не спеша выводил свой челнок из камышей. Мы за дедом.

— Бог в помощь, человеке добрый, — спокойно сказал дед, подплывая к Кнышу.

— Гы-гы... Зд-здравствуйте, — придурковато оскалился Кныш. — Ну и напугали вы меня, диду. Я уже бог знает что подумал. Гы-гы.

— Рыбку ловишь? — так же спокойно спросил дед.

— Ага, ага... — завертелся на месте Кныш. — Смотрите, сколько! Вот улов! Даже сам не ожидал... И вот тут будет. Я как раз про вас думал. Непременно, думаю, завезу деду самых лучшеньких. Вот хорошо, что вы встретились. Берите, пожалуйста, какие на вас смотрят. Вот эту щучку, и карасиков этих, и лещика... Куда вам положить?

Кныш взял самую большую щуку и уже наклонился, чтобы бросить деду в челнок, но дед резким движением оттолкнул его руку, и щука шлёпнулась в воду — только брызги полетели.

— Собирайся. Поедем, — строго сказал дед.

— Куда? Что? Вот шутят... Гы-гы, — опять ослабился Кныш.

— Собирайся, говорю! — повторил дед.

— Да что вы? Ну зачем? Это вы серьёзно? Да подождите... Хотите, я вам половину рыбы отдам. И чарку поставлю. И конфет хлопцам куплю.

— Эх, зря ты, человеке, живёшь на свете. Только воздух отравляешь и продукты портишь... Собирайся.

Мы сидели в своей лодке притихшие и только смотрели. И как это дед не боится?! Без ружья, без ничего! Кныш же во-он какой здоровый! Толкнёт раз, и — пропал дед, как пузырь на воде. Но Кныш был как собака побитая. Даже казалось, что у него есть хвост и он его поджал. И глазами смотрел совсем собачьими. Поспешно он выбирал сети и молча поглядывал на деда, как шкодливый щенок.

Но дед был неумолим. И когда Кныш кончил выбирать, сурово приказал:

— Погоняй вперёд!

И Кныш послушно поплыл вперёд, за ним дед, а за дедом уже мы.

Только мы отъехали от острова, как Кныш заскулил:

— Отпустите, диду! Отпустите, пожалуйста!

И голос у него стал такой плаксивый. Даже не верилось, что это говорит здоровенный дядька, который может выпить одним духом пол-литра денатурчика. Я с удивлением смотрел на него. Вот тебе и бандит, вот

тебе и хищник! А я ещё его боялся — чуть не помер от страха.

Кныш ныл всю дорогу:

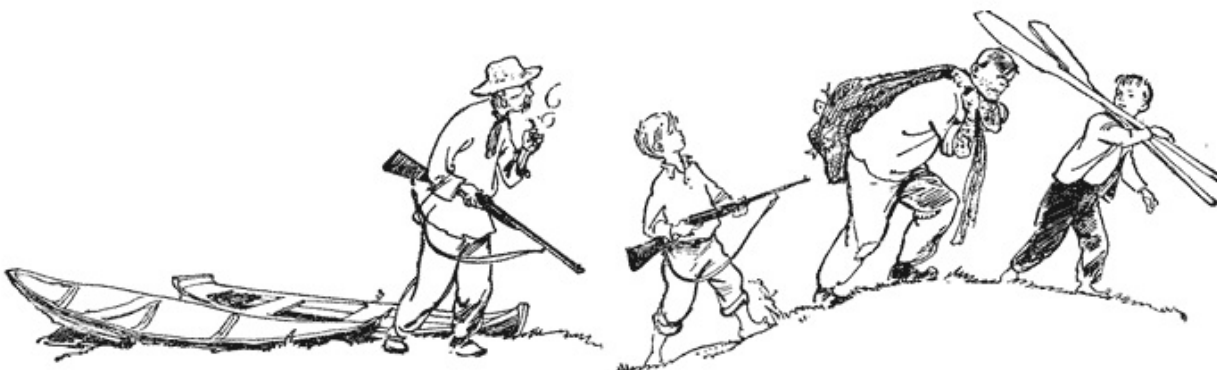
— Диду, неужели вам больше всех надо? Отпустите... Что я — у вас разве что украд? Так чего же вы... Отпустите... Я вас очень прошу... Пожалейте... Отпустите.

Дед молчал, будто и не слышал.

Так мы доехали до самого села.

Теперь складывай рыбу в сети — на плечо, и пошли! — приказал дед.

И Кныш подчинился. Я только диву давался, что всё вышло так просто — без выстрелов, без драки. И связывать не пришлось. Была на дедовой стороне какая-то сила, которой не мог послушаться Кныш.



Дальше было ещё проще. Мы пришли к милиционеру товарищу Валигуре, разбудили его. Он вышел заспанный, в шлёпанцах на босу ногу, но в кителе, в галифе и даже в фуражке.

Посмотрел и сказал:

— Ага, понятно. Зайдите в хату.

Мы зашли. Товарищ Валигура сел за стол и стал писать протокол. Писал он долго, часто останавливался и, склонив голову набок и поглядывая искоса на написанное, перечитывал. Наконец сказал:

— Свидетели, распишитесь, пожалуйста. Вот тут, — и ткнул пальцем, глядя на нас.

Мы с Кукурузо покраснели. Нам никогда в жизни не приходилось расписываться.

— Давай-давай, — сказал дед, расписался и передал ручку мне.

Я кривыми буквами нацарапал свою фамилию и передал ручку Кукурузо. Он лихо расписался, даже ловкий хвостик в конце поставил — совсем как взрослый. Я сразу же пожалел, что сам этого не сделал, — мне стало стыдно за свою детскую подпись.

Товарищ Валигура улыбнулся и похлопал Кукурузо по плечу:

— Молодец. Сразу видно, что пописью пятёрка.

Кукурузо отвернулся, пряча глаза. Мне уже не было стыдно за свою подпись.

Потом милиционер сказал:

— Спасибо вам, товарищи.

И по очереди пожал руки деду и нам.

И мы ушли.

А Кныш остался...

Я шёл и думал:

«Ну вот всё и кончилось. Какие же мы всё-таки герои! Задержали настоящего браконьера. Ну, не совсем, может, сами, но без нас ничего бы не было. Это точно. Вот теперь мы можем снискать славу, о которой так долго мечтали. Мы можем стать настоящими героями на всё село, а то и район, а может, даже на всю область. И в газете о нас могут рассказать, и по радио. А по телевизору что — нет? И Гребенючка будет смотреть на меня сияющими глазами, счастливая тем, что знакома со мной. А Карафолька будет плакать от зависти в углу, давясь своими пятёрками... И люди только и будут говорить друг другу шёпотом: «Вон пошли хлопцы... Те самые... Герои!»

Но... ничего этого, к сожалению, не будет. Потому что Кукурузо не хочет, чтобы кто-то знал про остров, про то, как он был Робинзоном, и всё остальное. И потому нельзя ничего рассказывать. Он и деда просил, и товарища Валигуру, чтоб всё это осталось тайной.

Таким образом, снова надо пропадать в неизвестности.

Эх-хе-хе!

В тот же самый день вечером Робинзон Кукурузо окончательно перебирался с необитаемого острова имени Переэкзаменовки на Большую землю.

Оркестры не играли, журналисты не щёлкали фотоаппаратами, тысячи людей не толпились с букетами цветов на берегу, встречая героя.

Было тихо.

Только изредка лаяли в селе собаки да квакали в камышах лягушки.

Глава последняя, заключительная

Прошло лето, пролетели беззаботные каникулы, и вот опять парта, опять каждые сорок пять минут звонок, опять: «Кто не приготовил домашнего задания, поднимите руку!», «Иди к доске!», «Выйди из класса!..». Будничная школьная жизнь прежнего пятого, нынешнего шестого «Б».

Я сижу на своём обычном месте у окна, смотрю, как гоняет по двору школьный пёс Собакевич, и вспоминаю все события прошедшего лета: остров, Кныша, «юных следопытов»...

И уже не впервые думаю я: «Неужели всё-таки случайно попал Кукурузо именно на тот остров, возле которого браконьерствовал Кныш? Что-то очень странное и счастливое стечение обстоятельств».

Я уже спрашивал его об этом. Но он не признаётся, только посмеивается. Но я почему-то уверен, что не случайно. Скорее всего, в то время, когда я был в Киеве, он выследил Кныша и уже тогда придумал «бежать» на остров. Вот Кукурузо! Вот хитрюга!

Неожиданно мысли мои прерывает голос Галины Сидоровны: — Рень, к доске!

И я чувствую, как мой правый локоть подпрыгивает вверх, — это встаёт, подымая крышку парты, мой сосед. Мой сосед и друг Кукурузо. Да-да, он выдержал переэкзаменовку (а что же вы думаете!) и тоже перешёл в шестой класс.

О, то были очень напряжённые дни, после возвращения с острова.

Вначале я только ходил под окнами у Реней и на всех цыкал. На Полкана «Цыц!» — не гавкай. На корову Контрибуцию «Цыц!» — не мукай. На свинью Манюню «Цыц!» — не хрюкай. Следил, чтобы никто не мешал готовиться моему другу.

А потом я убедил его, что лучше готовиться вдвоём, что мне это тоже необходимо, потому что я ничего не знаю.

Сначала он отнекивался: «Не надо мне твоих жертв!» Но я сказал: «Так ты что — хочешь быть лучше меня? Хочешь всё знать, а я, значит, оставайся дураком неграмотным? Это нечестно, это не по-товарищески!» И он вынужден был согласиться.

Весь август мы готовились вдвоём. Не скажу, чтоб это было очень

интересно, интереснее, чем, например, играть в футбол, в цурки-палки или ловить рыбу... Но кто сказал, что для друга надо делать только то, что интересно!

На переэкзаменовку я пошёл тоже вместе с Кукурузо. И диктант мы писали вдвоём. Галина Сидоровна сразу поняла, почему я пришёл, и сказала: «Садись тоже пиши, тебе это полезно». И, вы знаете, я написал хуже, чем Кукурузо. Он сделал две ошибки, а я три. Недаром всё-таки он брал с собой грамматику на необитаемый остров. Да и пока я был в Киеве, он тоже не только свёклу и картошку чистил...

И вот теперь он стоит у доски и уверенно пишет упражнения. И ни разу не ошибся.

Кстати, я знаю, что в книге «Робинзон Крузо» лежит у него бумажка с одним адресом.

Вряд ли кто-то стал бы беречь адрес просто так, не думая им воспользоваться.

Так что грамматика моему другу, ещё и, можно сказать, лично необходима. Отличнице безграмотное письмо не напишешь. Лучше сразу в колодец вниз головой...

— Молодец, Рень, садись! — говорит Галина Сидоровна.

И мой дружище, разомлевший от гордости, не спеша идёт на место.

Сев на парту, Кукурузо несколько минут молчит, пока не улеглись чувства, вызванные похвалой учительницы. Потом склоняется ко мне и шепчет:

— Так что — испробуем?

— Давай, — говорю я.

Мы наклоняемся и засовываем голову под парту. Кукурузо вынимает из-за пазухи плоскую жестяную коробочку от конфет, из которой торчат разные винтики, шпунтики и проволочки. Это изобретённое нами механическое приспособление для расстёгивания пуговиц.

Официального названия оно ещё не имеет и называется пока условно «штукакенция» (не «штука» и не «штукенция», а именно «штукакенция», потому что каждое новое изобретение обязательно должно иметь своё название). Действует «штукакенция» очень просто: прикладываешь к пуговице, нажимаешь кнопку — и готово. Только сперва надо, конечно, завести пружину. И вот Кукурузо берёт и начинает заводить.

Конечно, это вам ещё не на транзисторах, не на полупроводниках, но... Крраакк! — вдруг звонко на весь класс клацает пружина и, выскочив из коробочки, бьёт снизу Карафольку, который сидит впереди нас.

— Ввой! — дурным голосом вскрикивает Карафолька.

— У-у, растяпа! — шепчу я своему другу.
Но — поздно. Как гром с неба, слышится над нами сердитый голос
Галины Сидоровны:
— Завгородний и Рень, выйдите из класса!
Красные как раки мы вылезаем из-под парты и покорно направляемся
к двери.
Учебный год начался...

Для младшего школьного возраста

Нестайко Всеволод Зиновьевич

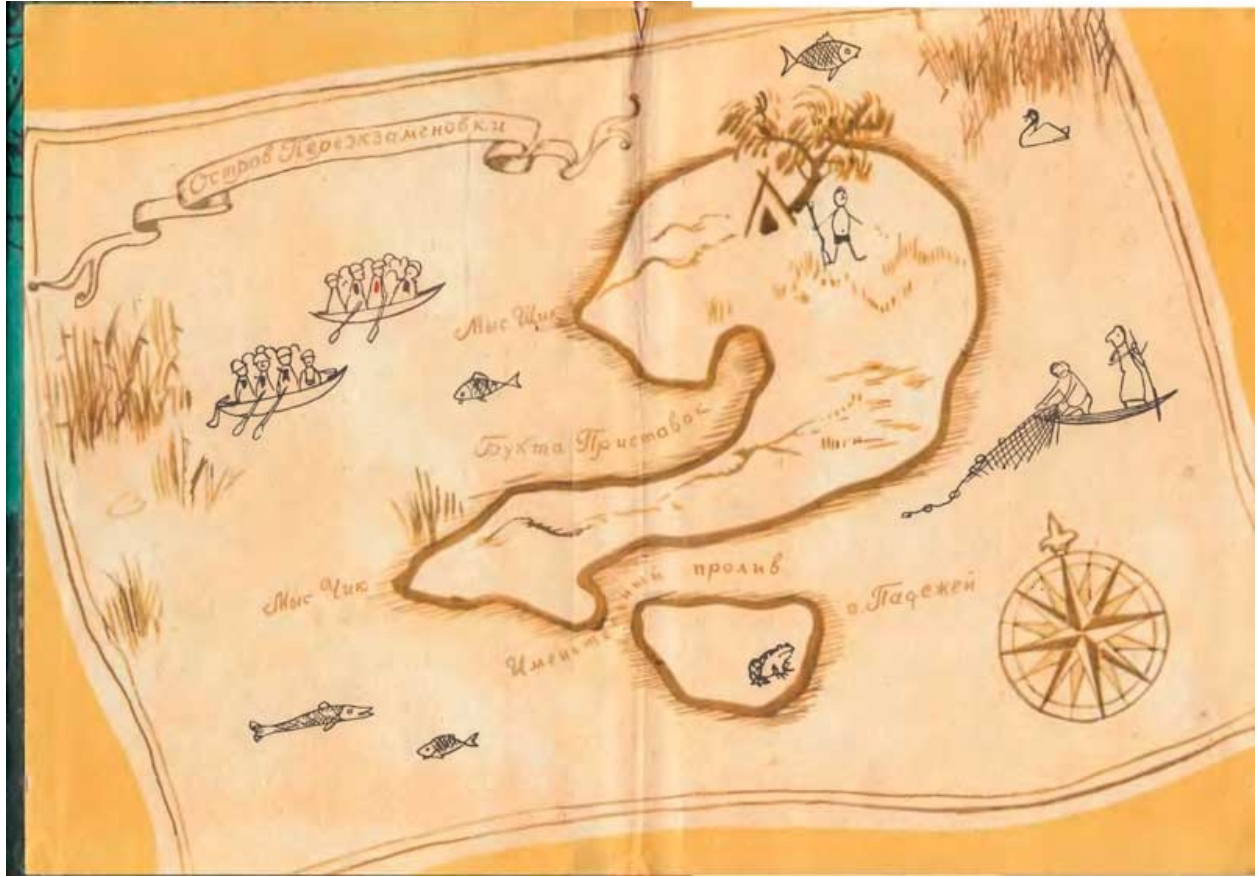
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КУКУРУЗО

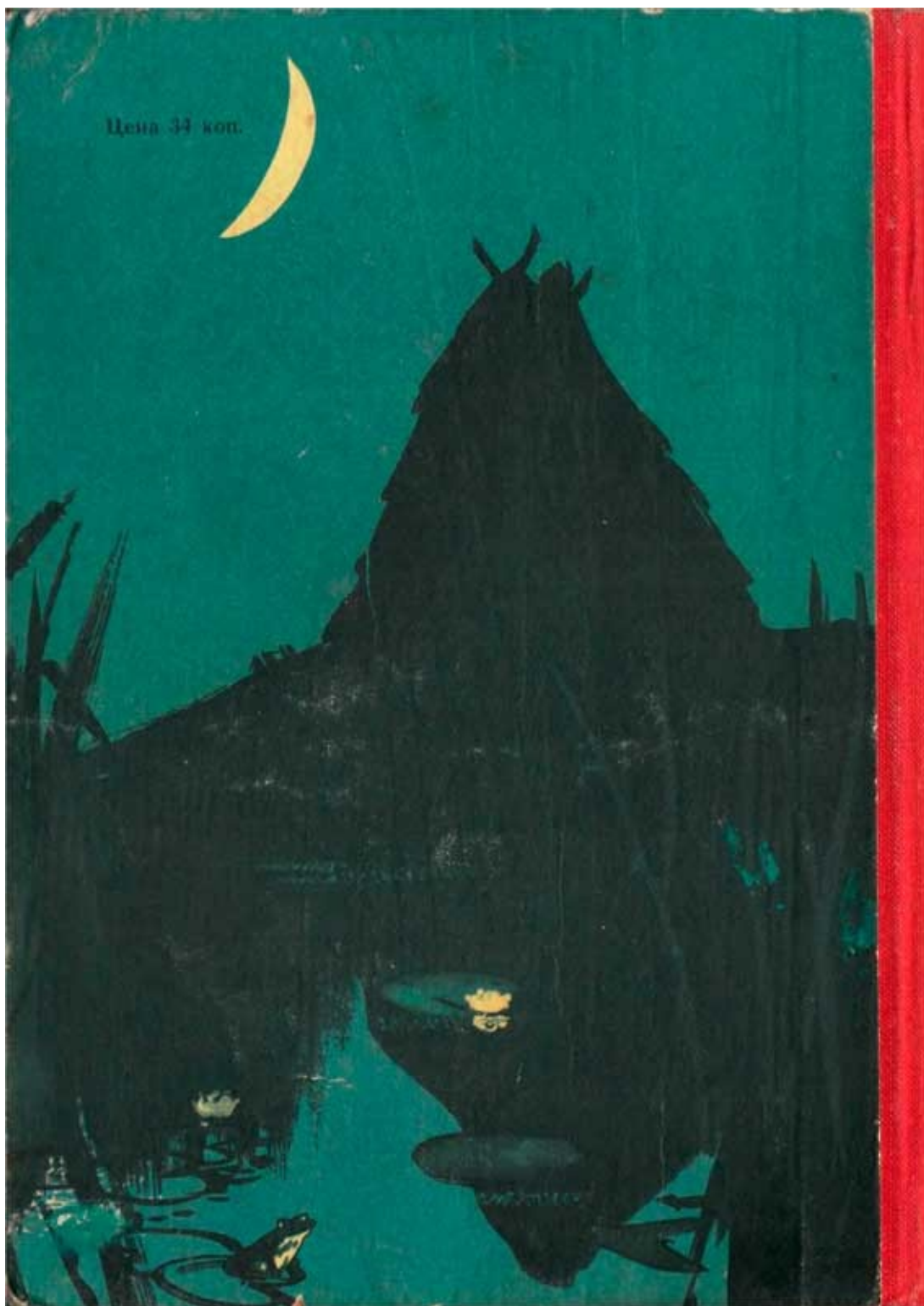
Ответственный редактор *И. С. Голубев*. Художественный редактор *Н. И. Комарова*. Технический редактор *Н. Г. Леканова*.
Корректоры *К. И. Каревская* и *Н. А. Сафронова*.

Сдано в набор 12/VIII 1965 г. Подписано к печати 27/X 1965 г.
Формат 60 × 84^{1/16}. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 9,33. Уч.-изд. л. 6,72.
Тираж 100 000 экз. ТП 1965. № 401. Цена 34 коп.

Издательство «Детская литература».
Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати,
Москва, Суцевский вал, 49. Заказ № 2780.





Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)

notes

Примечания

1

Б у ц е г а р н я (укр. старое) — арестантская, «холодная».

Цурки-палки — так на Украине называют игру в «чижик».